

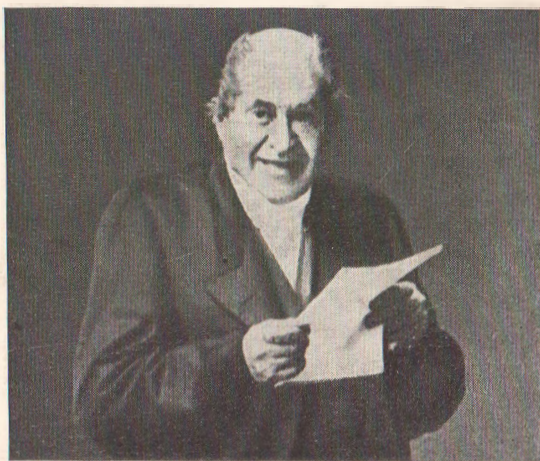
792С

К 49

А. КЛИНЧИН

# РЫБАКОВ

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»





А. КЛИНЧИН

**НИКОЛАЙ ХРИСАНФОВИЧ  
РЫБАКОВ**

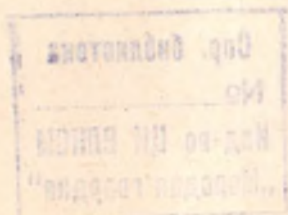
702 G  
K 40

УЧЕБНИК  
ПО  
МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ  
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Настоящее издание  
подготовлено при участии  
П. М. КЛИНЧИНА

210222

8-1-4  
300-72



«Несчастливцев.

...В последний раз в Лебедяни играл я Велизария, сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел».

*А. Н. Островский. «Лес»*

## НАЧАЛО ПУТИ

На юбилейном чествовании Николая Хрисанфовича Рыбакова в 1872 году великий драматург А. Н. Островский сказал: «Славен и достоин почестей не тот, кто их достиг, а тот, кто их достоин... Ваше же полувековое служение русскому театру навеки сохранит вашему имени признательную память потомства». «Имя Николая Хрисанфовича Рыбакова гремело, гремит и будет греметь в России, которую он обошел чуть не из конца в конец, всюду встречаемый и сопровождаемый овациями», — говорил о Рыбакове знаменитый русский актер В. Н. Давыдов.

Во время гастролей по России итальянского трагика Томмазо Сальвини присутствовавший на одном из спектаклей с его участием Александр Николаевич Островский обратился к соседям по ложе со словами, в которых одновременно прозвучали и гордость за родное русское искусство и чувство законного возмущения теми, кто сознательно замалчивал и умалял это искусство и лучших его представителей.

«Вот что значит быть иностранцем, — воскликнул писатель. — Весь мир знает Сальвини, а Рыбакова — только Россия».

Вся жизнь Рыбакова прошла в скитаниях из города в город, из труппы в труппу, от сцены к сцене. С каждой новой поездкой актера рос круг его друзей, все громче и громче разносилась его слава.

Мы мало знаем о детстве и юности артиста.

Рыбаков родился 7 мая 1811 года в городе Курске. Родители его были люди небогатые, жившие, по словам самого Николая Хрисанфовича, «трудами рук своих». Отец служил управляющим именьями курских помещиков Вельяминовых. Он умер, когда его сыну едва исполнилось три года. С этого времени все семейные заботы пришлось взять на себя матери Рыбакова, жившей на весьма скромные доходы от белошвейной мастерской, которую она открыла в Курске.

Самый разнообразный народ, посещавший белошвейную мастерскую, давал обильную пищу для наблюдений впоследствии, когда он стал актером, пригодились ему в его сценической практике.

Десяти лет Николай отдан был в губернскую прогимназию, которую и окончил в 1825 году, четырнадцати лет от роду.

Четырехклассная прогимназия, особенно в те далекие времена, давала ученикам лишь самые скудные познания. Элементарная грамота да четыре правила арифметики — вот, собственно, и весь тот небольшой запас учености, который мог почерпнуть Николай Рыбаков в стенах школы.

Годы учения промчались быстро, не ознаменованные никакими значительными событиями, если не считать того, что в одиннадцать лет Рыбаков впервые попадает на галерею местного театра.

По прошествии многих лет артист любил вспоминать этот большой день в своей жизни. Хорошо запомнил он и все подробности виденного в тот вечер спектакля — наивной старинной мелодрамы «Пустынный остров Фромантеро».

Окончив в 1825 году курскую прогимназию, Рыбаков, в сущности, только с этого времени вступил в ту большую и суровую, воспитавшую и закалившую его школу, какой была его полная нужды и скитаний жизнь. Школа жизни принесла Рыбакову неисчерпаемый запас наблюдений, дала бродячему провинциальному актеру глубокую и мудрую человечность, помогла ему в эпоху Добролюбова и Чернышевского, Островского и Садовского стать подлинно передовым художником, идущим «с веком наравне».

Это, однако, далось ему не сразу. Во всяком случае, ничто, казалось, не указывало на будущий славный путь артиста, когда по окончании прогимназии Николай Рыбаков поступил чиновником в курскую казенную палату.

Небогатой событиями была обычно жизнь маленького чиновника в небольшом провинциальном городке: тщательная переписка деловых бумаг, угождение начальству и постепенное, медленное, ступенька за ступенькой, восхождение по служебной лестнице «вверх» — от первого чина коллежского регистратора до места столоначальника лет через тридцать-сорок «беспорочной» службы. Но эта обычная, спокойная служебная карьера никак не прельщала увлекающегося, любознательного и творчески одаренного юношу.

С того дня, когда одиннадцатилетним гимназистом он попал на галерею Курского театра и оттуда, бледнея и замирая, смотрел первый в жизни спектакль, его будущая участь была уже предрешена. У себя дома, в канцелярии казенной палаты, в кругу товарищей и друзей Рыбаков мечтал лишь об одном — о театре, жил подвигами и страстями виденных им театральных героев, знал наизусть все их эффектные монологи.

Горячая любовь к театру, зародившаяся в душе гимназиста, прошла через всю жизнь Рыбакова, перенесла все испытания, всю горечь лишений, разочарований и обид и сохранилась в нем до конца его дней, ставясь с годами лишь более мужественной и более зрелой.

Сделавшись канцеляристом (как тогда называли маленьких чиновников), Рыбаков стал ревностным посетителем Курского театра, подобно многим другим русским актерам, до и после него начав с «райка» свой путь к завоеванию сцены.

Однако от крошечного чиновничьего жалованья, уходявшего на самый необходимый житейский обиход, ничего не оставалось даже на посещение «райка». Тогда, отправившись к содержателю театра Штейну, Рыбаков предлагает ему заключить своеобразную сделку: канцелярист будет безвозмездно принимать участие в массовых сценах спектакля, а антрепренер предоставит ему за это право бесплатного посещения театра.

Взглянув внимательно на красивого юношу, Штейн дал свое согласие, и с этого момента началась сценическая жизнь Рыбакова.

Первая самостоятельная работа не заставила себя долго ждать. 5 февраля 1826 года, когда Рыбакову не исполнилось еще и пятнадцати лет, ему поручили крошечную роль римлянина в ныне совершенно забытом водевиле Федорова «Чудные встречи, или Суматоха на маскараде».

С этих пор Рыбаков все чаще и чаще получает в Курском театре Штейна хоть и небольшие, но самостоятельные роли. Но в течение ряда лет играет на сцене совершенно бесплатно.

В казенной палате Рыбаков за несколько лет дослужился до своего первого и последнего «чина» — коллежского регистратора. В 1829 году, когда театр Штейна переехал на длительные гастроли из Курска в Киев, Рыбаков решил расстаться с мундиром чиновника и окончательно поступить в театр.

Но и после этого частная переписка бумаг в течение очень длительного времени являлась для него серьезной материальной поддержкой.

Вспоминая свое знакомство с Рыбаковым, известный в свое время драматург, приятель А. Н. Островского и сотрудник журнала «Современник» С. Турбин писал:

«В труппе Штейна в 1832 г. (раньше я ее не помню) был молодой актер из «канцеляристов»... Коля Рыбаков, называвшийся на афишах Львовым, — почему — не знаю. Коля бывал у моего отца и переписывал бумаги отличным почерком, который мне всегда ставили в образец.

Колю я помню как теперь: это был высокий, красивый молодой человек с вьющимися светлыми волосами и белым лицом. В труппе он занимал не видное место».

В те годы, когда Рыбаков, отбросив все сомнения, решил посвятить себя сцене, частный публичный театр в провинции был еще сравнительно редким явлением..

Взятый на откуп купцом-предпринимателем так называемый коммерческий театр родился на месте захиревшего и медленно умиравшего крепостного театра.

Еще не пало в стране сковывавшее ее силы позорное ярмо крепостного права, но уже вырубались заповедные липовые аллеи и дубовые рощи помещичьих усадеб, пеньковый завод строился там, где еще недавно возвышалось украшенное колоннами здание «храма Талии и Мельпомены», с торгов по одиночке распродавались «амуры и зефиры» крепостной труппы.

Непременная принадлежность крепостного театра — барская плеть — начинает постепенно уходить в прошлое, уступая место более современным, но не менее жестоким капиталистическим методам эксплуатации актерского труда.

«Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии,— писал в одной из своих статей Пушкин.— Барский дом дряхлеет. Во флигеле живет немец-управитель и хлопочет о проволочном заводе».

«Купец Абдулин», начинавший занимать заметное место в жизни страны, пробирался и в первые ряды театральных кресел, все более заслоняя своей широкой спиной проматывающих отцовские состояния отпрысков недавно знатных и всесильных дворянских фамилий.

Рыбаков в начале своей сценической деятельности еще застал последние крепостные труппы, наблюдал, как они целиком, со всеми своими актерами, со всей бутафорией и реквизитом, переходили в руки дельцов-антрепренеров. Рядом с ним еще играли крепостные актеры, еще звучали живой современностью рассказы об ужасах «барского гнева» и не менее страшной «барской любви».

Но театр при нем уже входил в иную эпоху, приобретая иное лицо, и в одном из самых значительных предприятий этого нового, капиталистического типа — в труппе Штейна — и довелось Рыбакову начать свой артистический путь.

Это был тот самый театр Штейна, кочевавший из одного южного города в другой, из которого на широкий простор русского искусства вышло немало славных актеров, чьи имена останутся навсегда вписанными в историю русской столичной и провинциальной сцены.

Хотя сам Штейн не отличался особо гуманным отношением к актерам и, как рассказывал один из современников, «весьма нередко выколачивал платые на своих сюжетах\*», тем не менее его театр по сравнению с усадебным крепостным театром давал гораздо больше простора для развития талантов из народа.

\* Так иногда в старину называли актеров.



Подаром же именно на шатких подмостках ярмарочных театров-балаганов за несколько лет до Рыбакова прозвучало правдивое и живое слово Михаила Семеновича Щепкина, здесь впервые раздался на всю Россию неподражаемый бас первого нашего Сусанина, Руслана в операх Глинки, мельника в «Русалке» Даргомыжского — Осипа Афанасьевича Петрова.

А сколько еще своеобразных и ярких дарований расцвело и созрело под закопченными крышами провинциальных театров, сколько талаптливых деятелей русской и украинской сцены колесило вместе со Штейном в его разбитых и тряских бричках и фургонах по всему простору южных губерний — от истоков Днепра до Черного моря, от Харькова до Херсона!

Творческие пути многих из этих знаменитых и безвестных больших и малых художников сцены пересеклись с творческим путем Н. Х. Рыбакова, и их дружеские советы, пример их сценической практики оказались хорошей театральной школой для начинающего артиста.

Штейн не имел твердой и постоянной базы в каком-нибудь одном месте. В вечной погоне за зрителем он переезжал из Курска в Харьков, из Харькова в Кременчуг, Полтаву и Киев, попутно давая спектакли во всех встречавшихся ему на пути городах и городках Украины.

И только на зимние месяцы группа Штейна оседала более или менее устойчиво в одном из трех больших городов: Курске, Киеве или Харькове.

До тысячи различных ярмарок устраивалось в то время ежегодно в России. И на каждую из этих ярмарок, открывавшуюся обычно в день храмового праздника, из всех окрестных городов и поместий прибывали многочисленные купцы и помещики в сопровождении всех своих «чад и домочадцев». Из расположенных неподалеку сел и деревень съезжались крестьяне и ремесленники в надежде выгодно распродать привезенные товары и продукты, закупить необходимое, а заодно и просто посудачить со старым знакомым и вдосталь наглядеться на многочисленные ярмарочные развлечения и увеселения.

Вертелись карусели, кричали балаганные зазывалы, ходили с коромыслом ручные медведи, на глазах у изумленных зевак превращали воду в огонь невесть откуда понаехавшие фокусники и парлатаны.

Среди этих невзыскательных ярмарочных увеселений бродячие театры первых частных антрепренеров — Штейна, Жураховского, Зелницкого — занимали свое определенное место.

В стремлении привлечь на свои представления как можно больше публики антрепренеры, или, как их тогда называли, «содержатели»

театров, старались угодить всем вкусам и ставили самые разнохарактерные пьесы: старинные трагедии XVIII века, насыщенные ужасами молодрамы, оперы и балеты на античные и мифологические сюжеты, легкомысленные переводные водевили. Вместе с тем театр Штейна широко популяризировал Фонвизина и Мольера; на его сцене с успехом шли произведения талантливых украинских писателей Котляревского и Квитки-Основьяненко; наконец, здесь (вскоре после Петербурга и раньше Москвы) была впервые в провинции целиком поставлена бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума» (29 февраля 1831 года).

Различие во вкусах и требованиях зрителей, противоречивость их эстетических взглядов сказывались не только на репертуаре, но и на актерском искусстве труппы Штейна. Вступивший в нее в 1816 году М. С. Щепкин застал здесь еще в полном ходу игру, заимствованную у крепостных актеров и представлявшую собой эпигонское подражание внешним приемам классицистской школы актерской игры, насаждавшейся в русском театре XVIII века.

«Припоминаю, сколько могу, — писал М. С. Щепкин, — в чем состояло, по тогдашним понятиям, происхождение игры: его видели в том, когда никто не говорил своим голосом, когда игра состояла из крайне изуродованной декламации, слова произносились как можно громче и почти каждое слово сопровождалось жестами. Особенно в ролях любовника декламировали так страстно, что вспомнить смешно; слова — любовь, страсть, измена — выкрикивались так громко, как только доставало силы в человеке; но игра физиономии не помогала актеру: она оставалась в том же натянутом, неестественном положении, в каком являлась на сцену. Или еще: когда, например, актер оканчивал какой-нибудь сильный монолог, после которого должен был уходить, по принято было в то время за правило поднимать правую руку вверх и таким образом удалиться со сцены. Кстати, по этому случаю я вспомнил об одном из своих товарищей: однажды он, окончивши тираду и удаляясь со сцены, забыл поднять вверх руку. Что же? На половине дороги он решил поправить свою ошибку и торжественно поднял эту заветную руку... Актер на сцене, говоря с другим лицом и чувствуя, что ему предстоит сказать блестящую фразу, бросал того, с кем говорил, выступал вперед на авансцену и обращался уже не к действующему лицу, а дарил публику этой фразой, а публика, со своей стороны, за такой сюрприз аплодировала неистово».

Манера эта бытовала в театре Штейна очень долго и, несомненно, в каких-то проявлениях сохранялась и тогда, когда на афишах театра замескало имя Николая Хрисанфовича Рыбакова.

Однако городской зритель и новый репертуар, в котором были

ыводены живые, всем знакомые люди, настойчиво ставят перед актерами задачу овладения совершенно иными приемами игры.

В труппе Штейна и в других «вольных» театрах России, так же как и на столичных подмостках, начинают появляться актеры, которых стесняют котурны классицизма, которые еще не осознанно, но упорно насаждают правду страстей и характеров на сцене, декламацию и позу заменяют проникновением в духовный мир своих героев. Таким стремившимся к правде актером был, например, И. Ф. Угаров — старший товарищ Щепкина по штейновскому театру. Щепкин чрезвычайно высоко ценил его как художника, говоря, что «выше его талантом» он и теперь (писано в 50-х годах XIX века) никого не видит. «Естественность, веселость, живость при удивительных средствах поражали вас...» — развивал Щепкин свою характеристику Угарова.

И вместе с тем Угарова, как и других лучших актеров провинции начала XIX века, нельзя все же назвать последовательными и сознательными реалистами. Простота и жизненная достоверность их игры являлись более результатом инстинктивной потребности души, нежели осознанного понимания задач нового искусства. Сценическое исполнение Угарова отличалось вследствие этого крайней поровностью: моменты подлинных художественных откровений переможались с приемами чисто рутинными. Недаром Щепкин, так высоко оценивший талант Угарова, тут же добавляет: «...к сожалению, все это направлено было бог знает как, все игралось на авось!»

На смену «стихийным реалистам» с исторической закономерностью должны были прийти актеры-реалисты новой формации, сознательно и убежденно отстаивающие искусство жизненной правды. Идеологом и вождем этой нарождавшейся в России славной когорты стал Щепкин. Еще в годы юности, протекавшей в театрах провинции, он начертал на своем творческом знамени девиз, который в дальнейшем стал непреложным законом передового русского театра: «Искусство настолько высоко, насколько близко к природе». Щедро разбрасываемые великим артистом семена не только в столицах, но и в провинции пали на взрыленную и удобренную почву. Театр Штейна, подобно театру Зелинского и театрам других немногочисленных антрепренеров того времени, был полон разительных противоречий.

На фоне одних и тех же пропыленных, грубо размалеванных кулис выступали и жалкие фигляры и гениальный Щепкин. Здесь расцвело и засверкало тонкое и проникновенное искусство лучшей провинциальной актрисы того времени, знаменитой Офелии Харьковской театра Л. И. Млотковской, и здесь же «рвал страсть в клочки» провинциальный трагик Бабанин. Актеры Штейна были связаны с профессорами и студентами Харьковского университета. И вместе

с тем вполне обычным для этого театра был эпизод, сообщенный М. С. Щепкиным писателю В. Соллогубу и послуживший ему основанием для рассказа «Собачка».

В этом рассказе рисуется картина беззастенчивого произвола губернских властей, с которыми пришлось иметь дело труппе Штейна (в рассказе — Шрейна); описывается, как вся эта труппа актеров с женами и детьми чуть не была однажды «пущена по миру» по прихоти взбалмошной и завистливой городничихи.

Сколько взволнованных, проникнутых глубоким уважением и благодарностью воспоминаний оставил М. С. Щепкин о товарищах по провинциальному театру — актерах Угарове, Павлове, Соленике. И какая горькая обида звучит в тех строках его «Записок», где он описывает убожество постановки мольеровского «Дон Жуана» в театре Штейна, когда спускавшийся на веревке пьяный актер, изображавший «фурию», никак не мог подцепить крючком и унести в преисподнюю бранящегося и грозящегося кулачной расправой Дон Жуана! \* И. Ф. Горбунов в очерке «Уездный город» приводит театральную афишу тещы Рыбакова, известного антрепренера и актера К. М. Зелинского, в труппе которого Рыбаков играл с 1841 по 1843 год и с 1846 по 1849 год.

#### «С дозволения начальства.

Прошу покорно обратить благосклонное внимание на мои почти пятилетние в сем городе заслуги, труды и хлопоты, удостоить пылешнюю ярмарку своим полным собранием, это будет величайшею помощью мне, большому старику. Почтеннейшая публика, не лишите же доброй надежды, а благодарность моя увянет разве только с жизнью моею. Антрепренер К. Зелинский

#### В первый раз

«Разбойники Богемских лесов, или Падение фамилии графов Моор». Трагедия в 5 действиях, сочинение знаменитого в свое время Шиллера».

Каждое действие делилось на несколько картин. 4-е действие было озаглавлено:

\* Любопытно, что этот юмористически обрисованный Щепкиным спектакль продержался в репертуаре театра Штейна в течение многих лет. В архиве ГЦТМ имени Бахрушина сохранилась афиша «Дон Жуана» в театре Штейна, датированная 1830 годом. Следовательно, и Рыбаков был свидетелем, а возможно, и участником описанного Щепкиным трагикомического представления.

«Богиня голода,

или

Мертвец с того света.

Гробовой голос из башни и разбойники».

Кончалась афиша следующим многообещающим анонсом:

«В непродолжительном времени. Братья Мальчугины, из которых одна сестра, будут иметь честь дать концерт из новейших и любимейших русских романсов, имевших огромный успех на нижегородской ярмарке и удостоившихся подарка.

Представление черной магии Жан Мольдуано, чревоушатель его величества короля сардинского».

В переходный период от крепостничества к буржуазной эпохе, когда дворянско-усадебный театр уступал место новому, частнокоммерческому, с особенной остротой проявилась противоречивость между идейно-художественными устремлениями наиболее передовых актеров и зрителей и требованиями господствующей верхушки провинциального общества.

Актеры театра Штейна в большинстве своем были свободными людьми, они уже не знали крепостной зависимости, губившей дарования их собратьев из старых, усадебных театров, но в то же время ничто не ограждало их от придирок и вымогательства всемогущего полицмейстера, от оскорблений и гнусных интриг местного «аристократа»-крепостника или отъезжего купца-воротилы.

Таковы были бытовые и творческие условия, с которыми пришлось с первых же дней его театральной жизни столкнуться Рыбакову, таковы были те люди, с которыми ему приходилось ежедневно и ежевечерне встречаться и работать на сцене. Здесь, в этом театре, среди этих людей, познал Рыбаков первые радости и первые неудачи в искусстве, здесь совсем еще юный актер впервые был удостоен одобрения и аплодисментов зрителей.

Впрочем, в ту пору аплодисменты и вызовы доставались на его долю не слишком часто.

Казалось бы, у начинающего артиста имелось все необходимое для завоевания прочного успеха у публики: пылкий и легко возбудимый сценический темперамент, покоряющее обаяние, великолепные внешние данные для исполнения трагических ролей (могучее сложение, звучный и сильный голос, подвижное и выразительное лицо, как бы самой природой предназначенное для выражения страстей сильных и бурных). И тем не менее Штейн по какой-то непонятной для нас причине в течение целого ряда лет держал в тени молодого артиста, доверяя ему лишь самые незначительные, «выходные» роли в спектаклях.

Возможно, что в течение длительного периода Рыбаков так и оставался бы одной из «полезностей» провинциальной сцены, если бы обстоятельства в театре Штейна не изменились однажды самым решительным образом.

Случилось так, что в начале зимы 1832 года Штейн со всей своей труппой собрался из Курска (где они тогда играли) в Харьков, на Крещенскую ярмарку. Однако публика не пожелала на этот раз отпустить полюбившуюся ей труппу и предложила Штейну остаться в их городе. Штейн не согласился, и тогда в труппе произошел раскол: главные силы с балетом и самим Штейном уехали, а в Курске осталась небольшая группа актеров, в числе которых был и Рыбаков, или Львов, как он тогда именовался на афишах.

Эту группу, решившуюся отделиться от Штейна и организовать свой самостоятельный театр, возглавил актер театра Штейна, в будущем крупный деятель русской театральной провинции Людвиг Юрьевич Млотковский.

Как сообщает историк Харьковского театра Н. Черняев, Млотковский был дворянином Киевской губернии, поляк по национальности, по документам он именовался Людвигом Войтеховичем. Рано увлекшись театром, Млотковский порвал с семьей, противодествовавшей его страсти, и в начале 20-х годов вступил в одну из бродячих польских трупп, разъезжавших по территории Польши, Бессарабии и Украины.

«Молодой Л. Ю. Млотковский, — рассказывает в своих неопубликованных, хранящихся ныне в Театральном музее имени Бахрушина мемуарах театрал и актер-любитель Е. Розен, — красавец собой, образованный, скоро обратил на себя внимание публики и сделался ее любимцем». Приглашенный незадолго до раскола в труппу театра Штейна на амплуа основного героя, Млотковский очень скоро показал себя как выдающийся организатор и руководитель театрального дела.

Оставшись в Курске, он пополнил труппу новыми актерами, и, когда в следующем году Штейн вынужден был закрыть свой театр и уехать из Харькова, Млотковский прибыл на его место уже в качестве признанного главы талантливого и дружного театрального коллектива.

С этого времени в течение примерно десяти лет Харьков становится основным местопребыванием труппы Млотковского.

Большой удачей Рыбакова оказалось то, что первые его сценические шаги, начало его актерской деятельности протекало именно в этом большом и культурном городе.

«Харькову повезло, — писал, имея в виду 30-е и 40-е годы прошлого столетия, один из старожилов этого города, — Он и тогда

уже быстро и заметно устраивался, улучшался, хорошел с каждым днем и сильно манил к себе провинциалов из уездов и на время и на постоянное местожительство... Он вкляючал в себе немало притягательной силы. Харьков— университетский город, единственный тогда центр просвещения для всей Украины и смежных губерний, богатый торговый город с четырьмя значительными ярмарками и театром...».

В 30-х годах, когда Млотковский избирает Харьков основным местопребыванием своей труппы, этот город был действительно центром оживленной культурной жизни Украины.

Основанный в 1804 году Харьковский университет был старейшим в России после Московского. Вокруг Харьковского университета группировались в эти годы лучшие силы украинской интеллигенции.

Писатели Г. Ф. Квитко-Основьяненко и П. П. Гулак-Артемовский, видный ученый и общественный деятель, основатель и руководитель Харьковского университета В. Н. Каразин, профессора и преподаватели университета, демократически настроенное харьковское студенчество— все они были страстными театрами, постоянно бывавшими в театре, встречавшимися с актерами; многие из них писали о Харьковском театре и для Харьковского театра, активно относились ко всем большим и малым фактам театральной жизни.

Один из бывших харьковских студентов, ярый театрал в своих воспоминаниях писал: «Я душою привязался, и привязался страстно к одному. Это был театр. Я сжился, сроднился с ним, совершенно пошел в его интересы. Плохой выбор пьес, дурная игра актеров мучили и беспокоили меня. Я употреблял последний четвертак на билет в галерею и готов был заложить последнюю рубашку, чтобы не пропустить хорошего спектакля».

Противоположность социальных и эстетических позиций разных общественных групп в Харькове весьма отчетливо проявилась в их отношении к В. Г. Белинскому.

Крепостники питали к нему лютейшую ненависть. В письме к Белинскому его друга, редактора «Харьковских губернских ведомостей» А. Я. Кульчицкого, мы находим такие слова: «Кстати, вы знаете особенное искусство наживать себе, кроме друзей, и настоящих врагов. Если бы вы знали, какой есть у вас под рукою ваш заклятый враг!.. Какая буря на челе!.. И решительно пророческий глас, и катовское упорство в ненависти...»

Совсем иным было отношение к Белинскому прогрессивно мыслящей харьковской интеллигенции, которая уже в конце 30-х годов XIX века видела в великом критике своего идеолога. Его статьи, его мысли находят здесь отклик во многих сердцах. В письме к Белин-

скому от 9 февраля 1840 года В. П. Боткин писал: «Вообще в Харькове имя твоё, право, лучше известно, нежели в Москве».

Одним из самых ярких примеров влияния Белинского, его идей на харьковскую интеллигенцию явилась деятельность своеобразного литературного объединения, группировавшегося вокруг семьи горячего пропагандиста «Московского наблюдателя», профессора и ректора Харьковского университета Ивана Яковлевича Кронеберга. В кружок этот кроме самого профессора входили: его сын — талантливый переводчик — Андрей Кронеберг, дочь Софья Кронеберг, их друг — критик, переводчик, автор очерков и рассказов Александр Яковлевич Кульчицкий, брат известного философа Н. В. Станкевича — студент Харьковского университета А. В. Станкевич. Кружок Кронебергов — Кульчицкого был, видимо, тесно связан с представителями украинской интеллигенции. Во всяком случае, о публикации одной из своих статей в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» Кульчицкий, как он сам об этом сообщает, впервые «узнал от нашего Грицка Основьяненко».

Через В. П. Боткина, долго жившего в Харькове, члены кружка были связаны с Белинским, между ними и критиком завязалась в конце 30-х годов оживленная переписка, в Белинском видели они своего духовного вождя. В свою очередь Белинский высоко ценил харьковских друзей. О Кульчицком он писал: «Он человек — этого довольно, чтобы любить его», — и восклицал: «Дай бог побольше таких людей». Андрея Кронеберга Белинский считал «глубоко поэтической натурой», говорил о нем, что «...это один из тех людей, каких и везде не много, а на Руси почти совсем нет».

Общественное лицо кружка легче всего определить, анализируя характер издававшихся с 1838 года «Харьковских губернских ведомостей», редактором которых был Кульчицкий. Надо помнить, в каких условиях издавались эти «Ведомости». Никаких политических статей печатать было нельзя, критиковать крепостное право было невозможно. Небольшие, в четвертушку современной газеты, листы «Ведомостей» должны были почти целиком предоставляться правительственным постановлениям, указам генерал-губернатора, известиям с торгов и всяческим объявлениям. Тем не менее жизнь театра находила в газете свое отражение. Члены кружка Кронебергов — Кульчицкого искали в театре отражение тех идей, которые волновали их в самой жизни. И. Я. Кронеберг был горячим пропагандистом драматургии Шекспира. Он оставил ряд интересных статей о западной литературе, в том числе о «Макбете» и о переводе Н. А. Полевым «Гамлета» (эту статью высоко ценил Белинский). Будучи тонким знатоком сценического искусства, он выдвигал перед актерами совершенно новаторское по тем временам требование играть не только то,



что заключалось в словах роли, но и то, что было «за ними и между ними...».

Его сын Андрей — знаменитый переводчик Шекспира, чей перевод «Гамлета», соединяющий точность с поэтичностью, Белинский ставил выше перевода Полевого, — время от времени публиковал в «Губернских ведомостях» за подписью А. Кр. свои рецензии.

Кульчицкий в редактируемых им «Губернских ведомостях» печатал под инициалами А. К. или же анонимно много своих статей, в которых высказывал передовые взгляды на литературу, на театр, на его репертуар, игру артистов. Будучи сторонником высокоидейного, воспитывающего зрителя театрального искусства, он горячо пропагандировал Шекспира, восторгался искусством П. С. Мочалова, добивался от харьковских актеров простоты, искренности и правды на сцене. Статьи Кульчицкого печатались и в столичной прессе. Белинский способствовал публикации «живых статей» Кульчицкого в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» и в «Литературной газете».

А. Кроненберг в письме к Белинскому от 2 декабря 1841 года, характеризуя себя и Кульчицкого как завсегдатаев театральных кулис, замечает, что Кульчицкий, беседуя с харьковскими актрисами, «изъясняет им Пушкина». Сам Кульчицкий пишет в том же году Белинскому: «Наш кружок в театре свой. Советы, статейки, часто распределение ролей или назначение пьес...»

Закулисные беседы и споры, встречи после спектакля со зрителями, преимущественно студенческой молодежью, — все это помогло артистам театра, и среди них Н. Х. Рыбакову, на многое взглянуть иными глазами, многое переосмыслить и переоценить.

Для Рыбакова огромное значение имело то, что в период его сценического учения, когда еще только оформлялся и искал себе применения его могучий и самобытный талант, он попадает в лучшую из провинциальных трупп того времени, возглавляемую таким необычным среди предпринимателей-антрепренеров человеком, каким был Л. Ю. Млотковский.

Глубокая преданность искусству, широта и смелость творческих планов, стремление максимально поднять культуру своего театра и игравших в этом театре актеров — все это принесло Млотковскому славу лучшего русского антрепренера. И вместе с тем в том волчьем мире наживы, в котором он пытался создать свой первый подлинно серьезный и культурный провинциальный театр, эти же высокие качества сценического деятеля и организатора привели его в конце концов к полному разорению, одиночеству и нищете.

В описываемое нами время Млотковский находился в самом расцвете своей деятельности. Он собирал в свою труппу лучших актеров

провинции, приглашал для оформления спектаклей опытных художников-декораторов, выписывал из столицы все лучшие пьесы, которые там выходили, создал при своем театре первую в провинции театральную школу, в которой «на всем его содержании и одеянии» воспитывалось и обучалось балету и драматическому искусству 12 детей. Наконец, Млотковский благодаря своей огромной энергии построил в Харькове здание театра, которое на долгие годы стало украшением города и предметом гордости харьковчан.

Как человек, глядевший вперед, Млотковский не мог не прислушиваться к голосам передовых людей Харькова, не внять советам лучших своих актеров, не почувствовать, что надвигается новая эпоха. Он понял, что если при Штейне городской житель, в своем большинстве еще мало искушенный, радовался любому зрелищу, в том числе и самому примитивно-балаганному, то теперь, с ростом городской интеллигенции и увеличением количества любителей и знатоков театра, успешное ведение дела начинает все больше зависеть от его художественной стороны. И здесь на помощь антрепренеру приходил его актерский опыт, то, что он, несмотря на склонность к сценической аффектации, был, по отзыву И. И. Сосницкого, «актером по призванию, отлично знающим и понимающим свое дело».

В отношении репертуара Млотковский стремился ни в чем не отставать от столичных сцен. «Едва появится на петербургской или московской сцене новая пьеса, — сообщает современник, — г. Млотковский ее выписывает, ставит на харьковский театр, не щадя издержек, иногда даже роскошнее, чем бы следовало расчетливому хозяину...». Но этого мало. Млотковский, направляемый передовой интеллигенцией города, во многом шел в отношении репертуара даже впереди столиц. Так, по количеству поставленных на его сцене произведений большой драматургии театр Млотковского был для своего времени просто уникален. Достаточно сказать, что в числе его спектаклей мы найдем «Гамлета», «Отелло», «Короля Лира», «Ромео и Джульетту», «Кориолаша», «Ричарда III», «Антония и Клеопатру», здесь можно было видеть «Разбойников», «Коварство и любовь», «Недоросля», «Горе от ума», «Ревизора», «Женитьбу». И это в то время, когда даже такой передовой театр провинции, как театр П. А. Соколова в Казани, фактически не знал еще ни Шекспира, ни Шиллера!

Многие классические пьесы (например, «Гамлет») появляются на афишах театра Млотковского не эпизодически, а регулярно, и постановки этих пьес становятся крупным событием городской жизни.

Отвечая запросам преобладавшего в Харькове украинского населения, Млотковский большое внимание уделял молодой украинской драматургии — пьесам И. П. Котляревского и Г. Ф. Квитки-Основьяненко.

Был ли при этом театр Млотковского свободен от всевозможной ремесленной, антихудожественной стряпни, которая наводнила тогдашние сцены? Разумеется, нет! Но в условиях николаевского режима лицо театра определялось наличием в репертуаре наряду со всяческой макулатурой произведений значительных, несущих зрителям большой духовный багаж.

Показателем не только список классических пьес, поставленных в театре Млотковского, но также и то, что в большом, насчитывающем несколько сот названий, списке поставленных здесь водевилей и мелодрам мы находим немало пьес с более или менее отчетливо намечившейся реалистической тенденцией, пьес, таящих в себе заряд бунтарства. И надо признать, что жизненно достоверное и социально активное в этих пьесах обычно не пропадало на харьковской сцене. При анализе конкретных сценических образов, созданных ведущими артистами театра, мы убедимся, что скрытые достоинства этих пьес и ролей в труппе Млотковского нередко становились явными.

Лучшим пьесам, украшавшим собою репертуар театра, Млотковский уделял наибольшее внимание и в постановочном отношении. Друг Мочалова поэт Н. В. Беклемишев писал в 1843 году: «Обстановка пьес, костюмы и самый оркестр доказывают, что г. Млотковский содержит театр не из одних меркантильных видов, а также из любви к театру и драматическому искусству, что делает ему большую честь». О том, что дело в театре Млотковского было поставлено с невиданно и для тогдашней театральной провинции широтой, размахом и, главное, культурой, свидетельствуют и другие современники. Например, объехавший многие города России путешественник М. Жданов после посещения театра Млотковского записал в своем путевом дневнике: «Все, все в нем порядочно! Костюмы — очень хороши, декорации нарядны, актеры хоть куда!»

На том, что харьковские актеры были (хоть куда!), сходятся буквально все писавшие о театре Млотковского современники, среди которых были передовые критики А. Я. Кульчицкий и Рымов (К. Барымов), историк Н. И. Костомаров, поэт Н. В. Беклемишев и, наконец, самый большой для нас авторитет — не раз игравший на одних подмостках с харьковскими артистами П. С. Мочалов. Великий трагик, не любивший раздавать пустые комплименты, после одной из гастрольных поездок с харьковской труппой говорил своим партнерам по сцене: «Я и в Москве не играю с таким прекрасным ансамблем».

Большой интерес с точки зрения характеристики Млотковского как антрепренера имеет отзыв о нем крупнейшего актера Александринского театра И. И. Сосницкого. Советуя мечтающему о сцене

любителю Розену начинать свое театральное поприще в провинции, Сосницкий указал ему на «патриарха провинциальных трупп — Л. Ю. Млотковского». «Кланяйтесь ему от меня,— добавил на прощание Сосницкий,— и скажите, что я посоветовал вам поступить к нему в труппу как к благонадежнейшему и просвещеннейшему из всех театральных директоров нашей необъятной России».

Совет Сосницкого полностью оправдался. Розен восторженно описывал свою первую встречу с Млотковским и дальнейшее участие «патриарха провинциальных трупп» в судьбе начинающего актера.

«Я всегда с удовольствием готов принять без разбора имени и звания всякого желающего посвятить себя театру,— сказал Млотковский Розену в ответ на его просьбу о дебюте.— Дебюты и последующая за ними служба при театре лучше всего могут показать, истинно это призвание или нет и оправдается ли оно талантом».

Искренность этих слов Млотковского подтверждается дальнейшими воспоминаниями Розена и воспоминаниями многих других провинциальных актеров, начинавших свой творческий путь в стенах Харьковского театра.

Эти слова Млотковского объясняют, почему именно ему удалось первому заметить и поощрить талант Рыбакова, томившегося в течение шести лет «на выходах» в труппе Штейна.

Млотковский начинает давать молодому артисту одну за другой значительные роли в трагедиях, и в этом репертуаре Рыбаков добивается первых успехов у публики. Вскоре после того, как Млотковский стал содержанием театра, по свидетельству Турбина, «Львов превратился в Рыбакова и занимал первые роли в трагедиях, иногда вместе, иногда чередуясь с Млотковским».

Между тем из всех существовавших в то время театральных амплуа не было более трудного и более далекого от жизненной правды, чем полное трескучих эффектов и нечеловеческих, выдуманых страстей амплуа героя и первого трагика.

И нигде не было так трудно «первому трагику» сохранять хотя бы ничтожную долю искреннего чувства на сцене, как в провинциальном театре.

Конец 20-х и 30-е годы прошлого столетия, когда начинал свою сценическую деятельность Рыбаков, были временем жестокой феодально дворянской реакции, наступившей в России после разгрома восстания декабристов. Эта реакция отразилась на всех сторонах общественной жизни страны. Проявилась она, в частности, и в запретах и цензурных гонениях на все значительное и передовое, что появилось в русском искусстве. Борясь с проникновением на сцену лучших русских реалистических пьес, таких, как «Горе от ума» и

драмы Пушкина, запрещая революционно-романтические антикрепостнические драмы Лермонтова и Белинского, не позволяя к постановке некоторые из пьес Шекспира и Шиллера, царское правительство в то же время всячески попустительствовало занесенному из Франции и чуждому передовому русскому искусству жанру — буржуазной мелодраме и непосредственно примыкающей к ней псевдоисторической, монархической драме, утверждающей незыблемость и торжество феодально-крепостнических устоев.

Под прямым воздействием властей и буржуазно-мещанского зрителя русская сцена, еще не очистившаяся полностью от холодных, рассудочных, бесконечно далеких от жизни классицистских трагедий, теперь была наводнена мутной волной переводных буржуазных мелодрам, трескучих и надуманных пьес, призванных потакать самым низменным вкусам.

Такими же рассчитанными на внешний эффект, как и мелодрамы, но еще более живыми в своей основе были квазинатриотические изделия Кукольника, Полевого, Ободовского и им подобных.

Характеризуя репертуар 30-х годов, Гоголь писал: «Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Все дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделись сыны палачей Африки! Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия!»

Не мудрено, что подобная, по определению Пушкина, «гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр.» драматургия диктовала и актерам такую же «гальваническую», неестественную, аффектированную и рассчитанную на внешние трескучие эффекты манеру игры. Все эти пьесы: «Сумасшедший от любви», «Адская жизнь», «Живая покойница», «Железная маска», «Ужасный человек, или Необдуманная клятва», «Шестнадцать лет, или Поджигатели» и им подобные — требовали для своего сценического воплощения жутких воплей и завываний.

Таких же воплей и завываний требовали и от одетых в боярские кафтаны и камзолы исполнителей пропитанные густым монархическим духом псевдорусские пьесы типа «Рука всевышнего отечество спасла», «Князь Михаил Иванович Скопин-Шуйский», «Иголкин — купец Новгородский». Герои этих пьес совершали невообразимые «подвиги» и произносили длинейшие монологи во славу «православной веры» и «батюшки-царя». Связанный с исполнением подобных пьес особый, антиреалистический стиль актерской игры в течение многих лет считался обязательным для каждого «трагика». Даже

в 50-х и 60-х годах прошлого столетия на сценах обоих столичных театров еще подвизался актер Леонидов, о котором его товарищ по сцене рассказывал, что «он брал такие ноты, то высокие, то низкие попеременно, как бы переплетая их между собой, с необыкновенными модуляциями и фиоритурами, что иногда становилось просто жутко и вы чувствовали, что попали в клетку к какому-то страшному зверю, который чем-то ужасно рассержен».

Мудрено ли, что за двадцать лет до Леонидова в театральной провинции даже у такого серьезного и культурного антрепренера, каким был Млотковский, от первого трагика требовали прежде всего дикого и неестественного пафоса, доходящего к концу монолога, по описанию одного из современников, до полного исступления, когда «музыка заключает акт, актер заглушает оркестр голосом и довершает общность картины, приняв резкую ненатуральную позу».

Так играл «последний из могикан» классицизма в театре Млотковского, одно время премьер труппы Ф. Г. Бабанин, который в течение ряда лет то уходил из Харьковского театра, то вновь сюда возвращался. О его игре рецензент «Харьковских губернских ведомостей» очень красочно писал: «Грудь вперед, голову немного на сторону, помахивая слегка правой рукой и выдвигая вперед правую ногу, — так ходит обыкновенно на сцене Бабанин. Его произношение отчасти принужденно изысканно, как бы процеживается сквозь зубы, но, — резонно добавляет рецензент, — не он виноват в этом. Он актер старинный, классический, воспитанный еще в той трагической школе, когда на сцену выходили торжественно, когда по ней не ходили, а выступали, и выступали величественно».

Далекой от правды жизни была и аффектированная игра самого Млотковского, прибегавшего в кульминационных местах спектакля «к диким крикам, которые сменялись каким-то свистящим шепотом, причем артист пощелкивал зубами, выворачивал глаза и в сильном пафосе со всего размаха бросался во весь рост на пол».

Трудно предположить, чтобы Рыбаков, начавший свой сценический путь еще в условной классицистской трагедии Озерова\*, а затем перешедший к исполнению не менее условного мелодраматического репертуара, не видевший перед собой никаких примеров реалистической игры у «трагических» актеров его театра, мог сразу в корне изменить привычный стиль мелодраматической игры. Но уже в это время Рыбаков, по-видимому, испытывал пусть неосознанную,

\* Один из современников юности Рыбакова, С. Турбин, рассказывает: «Когда Млотковский являлся Эдипом, Рыбаков — Тезеем («Эдип в Афинах»), когда Млотковский играл Старна, Рыбаков играл Фингала («Фингал»)».

по сильную потребность в чем-то другом, более простом и более человечном.

«По своей величайшей внешности он должен был, по общему мнению и обычаям того времени, изображать героев и вообще страшил, как он выражался, и действительно хорошо изображал их, но душа его лежала к простоте и правде» (курсив мой. — А. К.), — вспоминал молодой Рыбаков один из его харьковских знакомых и здесь же давал ему характеристику. Эта любопытная характеристика молодого Рыбакова не оставляет сомнений в том, что начинающему артисту были внутренне чужды ходульные и трескучие герои, презрительно именуемые им «страшилами».

«Рыбаков был красивый светлорусый молодой человек, огромного роста, величайший добряк и самое оригинальное смешило (так он сам себя называл). Он умел рассказывать самые уморительные вещи с неподдельным хладнокровием и самым серьезным тоном. Прост и доверчив он был, как ребенок, и любил водить компанию с детьми».

Рыбаков тянулся к правде на сцене и находил ее у своих товарищей — замечательных комиков труппы: Соленика, Дрейсига, Журавховского, Микульского, Зелинского.

Особенно выделялся среди этих актеров своей изумительно искренней, темпераментной и веселой игрой Карп Трофимович Соленик, служивший вместе с Рыбаковым еще у Штейна в качестве суфлера и выходного актера и раскрывший в труппе Млотковского свой блестящий комический талант.

Об этом замечательном актере не раз с восхищением отзывались видевшие его великие деятели русского искусства. Щепкин говорил о нем как о человеке «с громадным дарованием». Тарас Шевченко пазвал его в своем дневнике «гениальным артистом», а Гоголь, считая Соленика «решительно комическим талантом», добивался приглашения харьковского артиста в Петербург на роль Хлестакова.

Играя на одной сцене, а подчас и в одном спектакле с Солеником, Рыбаков пытался перенести реалистические принципы игры своего партнера на тот ограниченный круг ролей, который приходилось исполнять ему самому. Однако, занимая благодаря своему темпераменту, сильному голосу и внушительной внешности ведущее амплу «героя» в трагедии и мелодраме, Рыбаков на пути к своей цели столкнулся с рядом величайших трудностей, незнакомых его товарищам — «комикам» театра.

Комическим актерам было с кого брать пример, ибо жили в театрах Штейна и Млотковского реалистические и бесконечно человеческие традиции перешедшего в столицу, в Малый театр, М. С. Щепкина. Было комическим актерам и что играть, ибо наряду с пустыми и глупыми водевилями, составлявшими основу репертуара театров

30 — 40-х годов, на сцену, несмотря на всяческие гонения властей, все же проникала реалистическая драматургия Фонвизина и Крылова, Грибоедова и Гоголя, Котляревского и Квитки-Основьяненко.

Всего этого был лишен искавший, по словам С. Турбина и других современников, «простоты и правды» на сцене трагик Рыбаков.

В годы созревания его таланта, когда артист еще робко и оцупью искал верную дорогу в искусстве, он, бесспорно, многое понял и на многое стал смотреть другими глазами благодаря примеру и советам своей даровитой партнерши по многим спектаклям — Любови Ивановны Млотковской.

Млотковская, дочь учителя курского народного училища Колосова, который одним из первых заметил и приветствовал талант молодого Щепкина, была актрисой выдающегося дарования и по тому времени редкой, а для провинциальной сцены и вовсе невиданной образованности и культуры.

Прекрасную характеристику дарования Млотковской дал в 1843 году в большой, посвященной ей статье поэт Беклемишев, один из ближайших друзей П. С. Мочалова, приехавший в Харьков во время гастролей московского трагика. В этой статье Беклемишев писал: «Но кто изумил нас на харьковском театре, так это, конечно, госпожа Млотковская, которая могла бы быть украшением любого столичного театра. Отличительный характер ее игры заключается в простоте и естественности, первых условиях всякой красоты, всякого изящества. Нигде не прибегает она к жалким пособиям, изобретенным бездарною посредственностью, нигде не старается привлечь внимание ненатуральной резкостью мимики и напряжением голоса. Вся игра ее, полная обдуманности и самосознания, течет спокойно и ровно, ощутительно передавая зрителям то, что хотел передать писатель, изображая созданное им лицо... Но в тех местах, где чувство вырывается наружу, где не рассудок, а увлечение страсти характеризует роль, там вы невольно отдадите справедливость ее таланту. Там — вся одушевленная — она преображается: спокойствие и ровность игры исчезают, и перед вами та же, но совершенно другая Млотковская... и вы, изумляясь, глядите на нее, как бы глядели на реку, которая за минуту текла спокойно и прозрачно, а теперь, под дыханием бури, кипит, пенится и с громом и шумом катит бунтующие волны...»

Около десяти лет творческого общения с такой партнершей, как Млотковская, не прошли без пользы для талантливого, вдумчивого и пытливого, но неопытного и не обладавшего настоящей общей и театральной культурой актера, каким был тогда Рыбаков.

Прекрасная, искренняя и вдохновенная игра Млотковской многое могла разъяснить Рыбакову в постижении тайн сценического искус-



ства, указала ему на правду и простоту как на высокую цель, к которой должен стремиться каждый актер.

Охотно делившаяся своим театральным опытом с молодыми актерами, Млотковская во многом могла помочь Рыбакову и непосредственным тонким замечанием и умным советом.

Так в годы «ученичества», в начале своего актерского поприща, Рыбаков искал и находил пути к настоящему, большому, правдивому искусству.

Стоявшие перед ним трудности проистекали из лживости и фальши ролей и пьес, в которых ему как «трагику» приходилось играть; из лживости и фальши той «трагической» школы игры, которая под влиянием этой драматургии господствовала в столичных и в особенности в провинциальных театрах.

Находкам и открытиям Рыбакова помогали его природная наблюдательность, умение глубоко впитывать и познавать окружающую жизнь, органическое восприятие сценического опыта наиболее талантливых его партнеров, бережно хранивших традиции перешедшего с провинциальной сцены в Малый театр М. С. Щепкина.

«Пальму первенства на харьковской сцене можно отдать драматическому актеру Рыбакову,— писал в 1840 году рецензент журнала «Пантеон».— Этот актер одарен истинным дарованием, которое стоит много выше посредственности; конечно, талант его еще не выработан и, так сказать, не утвердился. С каждым представлением замечаешь в Рыбакове что-то новое, чисто оригинальное: он, видимо, совершенствуется. Игра его всегда обдуманна, мимика соответствует словам, с которыми согласено выражение лица. Нет утрированных жестов и восклицаний. В патетических местах он невольно увлекает и заставляет зрителя забыть. Его благородный, мужественный вид, одушевленное лицо, голос, полный страсти и чувства, действуют на душу и нередко исторгают слезы. От него много можно ожидать в будущем».

В том же 1840 году в «Литературной газете» была помещена большая статья, посвященная исполнению на харьковской сцене Н. Х. Рыбаковым и Л. И. Млотковской главных ролей в комедии Скриба, Мельвиля и Кормуша «Графиня-поселянка, или Медовый месяц». Комедия эта впервые была поставлена с участием П. С. Мочалова в 1832 году Московским Малым театром. На харьковской сцене она появилась спустя восемь лет. Действие ее происходит в России. В ней рассказывается, как герой пьесы граф Алексей Петрович Воронков, женившись на венгерской графине Полеска де Фарштайм, обнаруживает, что его жена взбалмошная, избалованная, преисполненная барской снеси женщина. Мужу удается перевоспитать жену: он объявляет себя крепостным человеком, столяром Алек-

сеем Петровым, и его высокородная супруга становится крепостной крестьяпкой, обязанной вести образ жизни, соответствующий ее новому положению. После бешенства и возмущения графиня все же начинает понимать свои ошибки, и одержавший победу граф возвращает ей высокий титул и все вытекающие из него привилегии.

Автор рецензии на постановку этой пьесы в Харькове А. Кульчицкий приравнивает исполнение Н. Х. Рыбаковым главной роли к игре великого П. С. Мочалова в роли Гюга Бидермана в пьесе Н. А. Погодина «Смерть или честь». «Рыбаков играл свою роль превосходно, верно, воодушевленно... Кто не видел Рыбакова в роли Алексея, тот решительно не имеет никакого понятия о его даровании... он стал на такую точку истины в искусстве, что это прямо можно назвать вдохновением, светлым, непомяренным. Эта простая, неизысканная позиция, этот печальный, растроганный голос, этот грустный, умоляющий взор, и смущенная преданность, и глубокая любовь — все, все столько благородно и просто, верно...». И дальше: «Рыбаков сошел со сцены, единодушно одобряемый, любимый публикой. Продолжайте, продолжайте на этом поприще, благородном и возвышенном. Природа, г. Рыбаков, дала вам многое, завладейте больше от искусства и поставьте себя далеко выше над толпой. Следуйте вашему влечению; оно не дается даром! Ищите, изучайте — и будьте нашим учителем. Вас окружает довольство, любовь и благодарность сограждан. Разве такая жизнь не счастье?»

Эти корреспонденции из Харькова, как и ряд других статей и заметок, написанных в те годы о Харьковском театре и его актерах, свидетельствуют о том, что к исходу 30-х годов талант Рыбакова еще формировался, что артист еще только набирал силы для того, чтобы смело и уверенно пойти по пути реализма, по тому пути, которому он будет следовать в течение пятидесяти лет своей самоотверженной сценической деятельности. Вместе с тем рецензенты отмечают как одну из характернейших черт Рыбакова его глубокую творческую неуспокоенность, постоянное стремление к совершенствованию — залог будущих сценических успехов.

## ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛИ

Гнетущее молчание, наступившее в России вслед за громом пушек на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, было по своей скрытой сути лишь затишьем перед боем, той обманной тишиной, которая таит в себе заглушенные, но назревающие и нарастающие раскаты новых бурь и новых гроз.

По определению А. И. Герцена, эпоха, последовавшая непосредственно за восстанием декабристов, была эпохой «внутреннего освобождения и наружного рабства».

Трудно найти в истории русской общественной жизни период столь беспощадного правительственного террора против всякого движения свободной мысли, против всякой, даже самой робкой, попытки борьбы с существующим порядком, чем эпоха казарменной дворянской империи Николая I. Тюрьма и Сибирь для передовых русских писателей и мыслителей, кнут и розги для непокорных крестьян, шпицрутены для солдат — вот те «знамена времени», которые позволили революционеру Герцену назвать вторую четверть XIX века эпохой «наружного рабства».

Но в эту же мрачную эпоху в недрах России уже скапливались и зрели новые могучие силы. На смену павшим героям 1825 года вставал новый строй борцов за освобождение народа.

В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин писал: «...мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли»\*.

Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Белинский, Герцен вставляли на смену павшим товарищам и друзьям, еще выше, еще смелее поднимая выпавшее из рук декабристов знамя протеста и свободы.

«Внутреннее освобождение» с могучей силой звучало и в обличающем сарказме гоголевского «Ревизора» и «Мертвых душ» и в негодующем, пламенном, «облигом горечью и злостью» стихе Лермонтова.

В области театра, в области актерского искусства самыми яркими выразителями внутреннего освобождения от пут официальной, монархической идеологии, от пут официального, придворного клас-

\* В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.

сицистского искусства были два великих русских актера-реалиста — Щепкин и Мочалов.

На долю этих корифеев русского театра выпала великая миссия — реалистическая реформа отечественной сцены, подчинение ее идеям гражданственности и правды. Именно высокая гражданственность и демократизм искусства обоих артистов побудили А. И. Герцена написать об их творчестве: «Щепкин и Мочалов, без сомнения, два лучших артиста изо всех виденных мною в продолжение тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы. Оба принадлежат к тем *намекам* на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России».

Безгранично велико было влияние этих гениальных художников на их столичных и провинциальных собратьев.

Все последующие поколения актеров гордо именовали себя продолжателями щепкинских и мочаловских традиций, стремились сохранить и развить заветы своих учителей.

Но если преемственность традиций Щепкина и Мочалова сравнительно легко проследить в творчестве крупнейших актеров Малого и Александринского театров, то далеко не таким ясным представляется этот вопрос, когда речь заходит о русской театральной провинции.

А между тем история провинциального театра на протяжении всего XIX века, история развития реалистического актерского мастерства в многочисленных русских частных театрах периферии не могут быть до конца поняты и объяснены без учета того колоссального влияния, какое оказали на эти театры и на их актеров реформаторы русской сцены — Щепкин и Мочалов.

На рубеже 30 — 40-х годов (весной 1838 года, осенью 1839 года и весной 1840 года) Л. Ю. Млотковский для поддержания сборов и в качестве высокого образца для актеров трижды приглашал на гастроль Павла Степановича Мочалова.

Гениальный московский артист, высоко оценивший художественный ансамбль Харьковского театра, а также его «умную и благосклонную» публику (в письме к премьерше Харьковского театра Л. И. Млотковской Мочалов писал: «...грех свободным временем не воспользоваться, грех не показаться умной и благосклонной ко мне харьковской публике, и грех большой отказать себе в удовольствии поиграть вместе с прекрасной актрисой...»), с большим удовольствием принимал приглашения Млотковского и выступал с его труппой как в самом Харькове, так и в других городах, куда выезжал театр.

Хранившееся в архиве Театрального музея имени Бахрушина письмо к Мочалову старого харьковчанина, учителя словесности харьковской гимназии Павла Иноземцева, убедительно рассказывает о том, чем был для демократической части зрителей — для мелкого городского чиновничества, учителей, студентов, мастеровых — гневный и протестующий могучий дар артиста:

«Боже мой! благодарю тебя: жизнь моя не прошла случайным бытием.

В ней есть эпизод, достойный зависти, — это сердечное родство с человеком, которого так долго искала бедная душа мечтателя, человеком, на которого так мало похожи привилегированные дети Адама, эти куколки, являющиеся то под мантией аристократизма, то на ходулях, выбитых лбом, авторитетов ученой, поэтической и всякой другой славы...

Примите слова мои за чистую монету: я слишком горд, слишком честен и слишком мал в значении света, чтобы упасть до пошлостей и лести. Предоставим это тем, которые платят поэту за его вдохновение.

Узнавая Мочалова, Иноземцев узнавал истину в образе великого таланта».

«Истина в образе великого таланта» — в этих словах скромного харьковского учителя раскрываются подлинный смысл и значение творчества великого трагика.

Мочалов был потому близок и понятен демократической части столичных и провинциальных зрителей, что его игре, заключавшей в себе, по свидетельству С. Т. Аксакова, «бездну огня и чувства», было в высшей степени присуще то гневное, протестующее начало, какое определяло собою умонастроения всех лучших людей эпохи во главе с одним из самых передовых ее деятелей — В. Г. Белинским.

Тяжелый гнет николаевской реакции, сковывавший Россию в 30-х и 40-х годах, придавал таланту Мочалова мрачный, трагический колорит. Глубокий репертуарный кризис, в каком находился театр второй четверти XIX века, делал мочаловский протест подчас абстрактным, но все это не снимало главного и самого ценного в искусстве великого трагика — его революционной, гневной, обличающей силы.

Социальный протест и глубокая правда чувства — эти основные качества Мочалова-актера — делали его особенно понятным и близким демократическим зрителям, для которых игра Мочалова была, по выражению Белинского, «откровением тайнства, сущности сценического искусства».

«Откровением тайнства, сущности сценического искусства» была игра Мочалова и для его многочисленных партнеров по провинциальной сцене, в том числе и для молодого Н. Х. Рыбакова.

Во времени гастролей Мочалова в Харькове Рыбаков уже занимал видное положение в труппе, играя все значительные героические роли в драмах и трагедиях, шедших на харьковской сцене. В борьбе между декламацией и чувством, между эффектным позерством и раскрываемой средствами театра живой, страдающей и негодующей человеческой душой артист мучительно искал цель и смысл того искусства, которому он еще мальчиком в день памятного спектакля «Пустынник с острова Фромантеро» решил целиком посвятить свою жизнь.

В Харькове и во время поездок театра в Киев, Тулу и Воронеж Рыбаков принимал участие во всех почти гастрольных спектаклях московского трагика. Когда Мочалов был Гамлетом, Рыбаков — Гильденштерном или Тенью отца Гамлета; Мочалов играл Чацкого, Рыбаков — Репетилова; Мочалов был Фердинандом в «Коварстве и любви», Рыбаков — президентом; Мочалов — Прокопом Ляпуновым в «Скопине-Шуйском», Рыбаков — Болотниковым. И так почти в каждом спектакле.

Мочалов просто и дружески относился к своим провинциальным партнерам. В своей «Автобиографии» харьковский сослуживец Н. Х. Рыбакова — актер И. И. Лавров (Барсуков) — пишет о Мочалове: «...он часто приглашал меня к себе, беседовал со мной о театральном искусстве, одобрял выполнение некоторых ролей моих, журил за другие...» Мочалов особенно отмечал своим вниманием и доверием молодого трагика труппы Млотковского Н. Х. Рыбакова.

Рецензии на спектакли Мочалова в провинции неизменно ставили рядом три имени: первым — имя Мочалова и сразу же вслед за ним имена его достойных партнеров — Млотковской и Рыбакова. И когда после конца спектакля Мочалов за руки выводил на авансцену этих лучших актеров русской театральной провинции, зал в благодарность за его талант и чуткость отвечал ему несмолкаемыми вызовами и аплодисментами.

Вечера и ночи после спектакля Рыбаков часто проводил в обществе великого трагика, в нескончаемых душевных разговорах они делились своими мыслями об искусстве, разбирали новые роли Рыбакова.

Замкнутый и скрытный перед посторонними, перед людьми, по-барски покровительствующими его таланту, Мочалов раскрывал все свое пламенное сердце перед прямодушным и глубоко восприимчивым молодым актером.

О потрясении, которое пережил Рыбаков, играя в одном спектакле с Мочаловым, рассказал в очерке «Белая зала» актер и писатель И. Ф. Горбунов. Горбунов приводит взволнованный рассказ старика Рыбакова (выведенного под именем трагика Хрисанфа) о его незаб-

вопном учителе — П. С. Мочалове: «Я имел счастье играть с этим великим человеком в Воронеже, — говорил он только что поступившему на сцену молодому актеру. — Он играл Гамлета, а я Гильденштерна.

— Сыграй мне что-нибудь.

— Я не умею, принц.

Он оставил на меня глаза — все существо мое перевернулось. Дихорадка по всему телу пробежала. Как кончил я сцену — не помню. Вышел за кулисы — меня не узнали.

— Ты хочешь играть на душе моей, а не можешь сыграть на простой дудке.

Губы у Хрисанфа затряслись и хлынули из глаз слезы.

— Это был гений!

— А говорят, Каратыгин выше был.

— Ростом выше Каратыгин!..»

По свидетельству одного из современников, во время исполнения Мочаловым роли Гамлета Рыбаков, игравший в этом спектакле, в свободное от выходов время стоял за кулисами и, взволнованный, потрясенный, повторял: «Вот как надо играть!»

Могучее влияние, какое оказал великий артист на Рыбакова, испытывали и многие другие соприкасавшиеся с московским трагиком провинциальные актеры.

Товарищ Рыбакова по труппе Млотковского актер И. И. Лавров (Барсуков), также принимавший участие в гастрольных поездках Мочалова, оставил в написанной на склоне лет «Автобиографии» горячие слова любви и благодарности замечательному московскому трагику.

Эти скудные строчки незатейливых, но искренних воспоминаний старого актера являются драгоценным свидетельством того, чем был Мочалов для многочисленных своих провинциальных собратьев: «Весной 1838 г. приехал к нам в Киев (где в то время гастролировал Млотковский со своей труппой. — А. К.) на 10 спектаклей мой кумир — знаменитый трагик московский — П. С. Мочалов. Вот в эти-то десять спектаклей, играя с ним все вторые роли, душа моя уже вполне насладилась давно ожидаемым блаженством. Не могу передать словами всего того, что я перечувствовал, смотря уже опытными глазами на игру великого трагика, и теперь даже, когда тому прошло уже много лет, я как бы в эту минуту слышу его потрясающий душу шепот, как будто сейчас льется в душу мою этот мелодичный голос страсти, так обаятельный для всех зрителей; как будто в это мгновение смотрю на это прекрасное, впечатлительное лицо, на котором прежде слов изображалось все то, что выражали неподражаемые звуки голоса этого гения нашего драматизма. Да, этот незабвенный трагик вполне разъ-

яснил нам тогда, что такое Гамлет, Отелло и проч., а до него мы, грешные, только пародировали их, а не играли».

И, говоря дальше о своем увлечении игрой Павла Степановича Мочалова, Лавров заключает: «Эта безотчетная, слепая любовь моя к великому трагику, непрерывная наблюдательность моя за игрой его так сроднились со мной, что меня потом звали слепым подражателем Мочалова, что было действительно правдой и что навсегда осталось во мне».

Любовь и благоговение Рыбакова к Мочалову были не менее сильными и постоянными, чем у Лаврова, но, в отличие от последнего, у Рыбакова они не были слепыми и безотчетными; они вели его не к подражательности, а будили его собственный талант и творческое воображение.

Не все было ровно и одинаково сильно в игре великого трагика: тут были и откровения, и взлеты, до которых только может подняться человеческий гений, и глубокие падения, когда, не находя для своего вдохновения живых и искренних слов в роли, Мочалов вдруг сникал, стихали чарующие струны его единственного, неповторимого голоса, угасал светлый огонь его души.

А потом, через минуту, как бы внезапно вновь пробужденный к жизни, он вспыхивал еще более сверкающим, еще более ослепительным пламенем.

Многие актеры, игравшие с Мочаловым и увлеченные его вулканическим темпераментом, воспринимали в игре гениального артиста лишь то, что было легче ухватить на поверхности, то, что раньше всего бросалось в глаза, и то, что, в сущности, составляло не силу его, а слабость: неровность игры, ее зависимость от порывов вдохновения — короче говоря, то самое, что после Мочалова стали называть актерским «нутром».

Но нечто другое, гораздо более важное и ценное, сумел уловить и усвоить в творчестве великого артиста его молодой и талантливый харьковский партнер.

«Он был учеником Мочалова и работал над ролями, внося реализм даже в мелодраматические роли» (курсив мой.— А. К.),— говорил о Н. Х. Рыбакове его сын, выдающийся актер Малого театра Константин Николаевич Рыбаков.

И это слово — реализм — как нельзя более точно передает то самое большое и главное, что сумел почерпнуть для себя Рыбаков в творчестве Мочалова и что он завещал хранить своему сыну — ученику и продолжателю.

Одну из первых и главных особенностей Мочалова, отмеченную его современниками, составляла глубокая простота, искренность и человечность его искусства.



Какую бы роль и когда бы ни исполнял Мочалов, она лишь тогда могла воспламенить его воображение и пробудить в нем вдохновенный огонь творчества, когда хоть чем-нибудь была близка и понятна его сердцу, когда он мог поверить в правду чувств и мыслей своего героя.

Величайшая простота и искренность мочаловского творчества, его соответствие классической пушкинской формуле реализма: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» — стали как бы творческим девизом всей дальнейшей деятельности Рыбакова.

В своих лучших ролях Рыбаков неизменно оставался верен высокому принципу искусства, который с невиданной доселе полнотой был впервые в России раскрыт в трагическом репертуаре гениальным артистом Малого театра.

Другая особенность Мочалова заключалась в предельной силе и максимальном напряжении его сценических страстей — истинных и правдивых.

Рыбаков, как и Мочалов, не был актером сценических недосказанностей и полутонов. Он был художником эмоциональным и страстным, бравшим свою аудиторию в плен прежде всего живым огнем неподдельного и сильного чувства.

Один из современников Рыбакова, испытавший на себе силу его художественного воздействия, писал об артисте:

«Зрители забывали, что они в театре, и переживали с ним вместе весь ужас человеческих страстей. Театр, переполненный сверху до низу, как говорится, яблоку негде было упасть, замер в сосредоточенной, напряженной тишине, изредка нарушаемой чьим-нибудь подавленным вздохом. И Рыбаков, как маг, как волшебник, завораживал толпу своей игрой, может быть и сам того не сознавая. Такова сила таланта!

Я думаю, что и теперь кто его помнит, то по собственному переживанию может определить особую мощь, действующую точно гипноз на зрителя...»

Накал страсти у героев Рыбакова — романтических и бытовых, трагических и комедийных — был всегда по-мочаловски предельно высок, и именно поэтому, даже выступая в более поздний период своего творчества в ролях Гоголя и Островского, Рыбаков достигал максимальной концентрации типических черт своих героев, умел, отойдя от мелкого жанризма и бытовизма, создавать цельные характеры — глыбы, характеры-монолиты. Поэтому, исполняя в зрелые годы роли купцов-самодуров в пьесах Островского, сумел Рыбаков дать им столь остро обличительное толкование: «апофеозой самодурства», «апостолами самодурства» называли современники его Большова, Ахова,

Брускова, и в этих определениях мы ощущаем подтверждение устойчивости и прочности мочаловских традиций в творчестве Рыбакова.

Рыбаков многое сумел воспринять и усвоить у своего великого учителя. Глубокой творческой близости двух художников русского театра — одного, находящегося в зените славы, другого, только еще начинающего артистический путь, — способствовало прежде всего внутреннее единство их общественного и художественного мировоззрения: оба они были актерами-демократами, отражающими в своем искусстве передовые настроения времени.

Истинно демократическим было искусство Мочалова — воинствующее, страстное, пламенное. Воинствующим и страстным было также искусство его ученика — Рыбакова.

Высокий гражданский пафос, боль за человека, оскорбленного и раненного неправдой мира, но гордого и несдающегося, — эта основная творческая тема Мочалова, высказанная языком глубокой искренности и подлинного чувства, несомненно, была близка и понятна его горячему молодому последователю Рыбакову.

Уроки Мочалова сделали свое дело. Идя собственным творческим путем, Рыбаков продолжил и развил те высокие принципы гражданственности и правды в искусстве, на которые указал ему проникновенной игрой великий Мочалов.

Эти же принципы Рыбаков в свою очередь завещал сыну, Константину Николаевичу Рыбакову.

Вспоминая годы актерской юности, Константин Николаевич рассказывал: «Отец никогда мне ничего не показывал, но часто рассказывал о своем любимом учителе Мочалове, о том, как он играл, говорил об исполнении той или другой роли, и эти рассказы вместе со сценической практикой были в течение десяти лет моей единственной школой».

Если влияние Мочалова на Рыбакова было явным и бесспорным, то гораздо более сложными путями, часто скрытыми от постороннего глаза и во многом до сих пор не разгаданными, шло постижение Рыбаковым другого величайшего театрального художника его времени — М. С. Щепкина.

М. С. Щепкин начал свой актерский путь в провинции и в том самом театре Штейна, в который через несколько лет после отъезда артиста в Москву поступил молодой Рыбаков.

Щепкин еще в начале своего артистического поприща очень быстро выделился в среде товарищей как глубоко одаренный, мыслящий и ищущий актер. «В душе его уже глубоко заронила любовь к истинному искусству, без фарсов и шарлатанства, уже тогда предчув-

ствовал он, как высоко призвание художника», — писал о молодом Шепкине его близкий знакомый, писатель В. А. Соллогуб. Щепкин не был одинок в своем стремлении повернуть театр к правде, к жизни. Творческие искания и открытия артиста шли в том же направлении, в каком творили все лучшие, передовые сценические деятели его времени в столицах и в провинции.

Артист сам рассказывал в своих «Записках», как далеко шагнули по пути реализма некоторые из его провинциальных партнеров по сцене.

Но великая заслуга Щепкина перед русским искусством состояла в том, что он, как никто другой, сумел осознать эти новые художественные запросы эпохи, обобщить их в стройную систему и воплотить в своих сценических созданиях с доселе невиданной яркостью, силой и полнотой.

Поэтому Щепкин в период работы в театре Штейна не мог не оказать решающего влияния на своих театральных сослуживцев в Курске, Харькове, Полтаве, Туле — во всех городах, в которых ему в дни молодости довелось служить.

Дебютируя в Москве 20 сентября 1822 года, Щепкин был уже большим и зрелым мастером, лучшим актером провинции, оставившим там целую группу талантливых актеров (по преимуществу комиков), многие воспринявших из реалистической реформы своего великого собрата.

Рыбаков в период своей учебы бесспорно должен был освоить многое из щепкинских традиций через творчество старших товарищей и партнеров по театрам Штейна и Млотковского. Но не только «через вторые руки», через провинциальных последователей Щепкина, а и непосредственно у самого великого мастера мог многое почерпнуть для себя и для своего творческого становления Н. Х. Рыбаков.

Щепкин, будучи уже прославленным актером Московского Малого театра, многократно выезжал на гастроли в провинцию.

Здесь, вдали от гнетущего воздействия Конторы императорских театров, он мог смелее и увереннее искать, экспериментировать и творить, здесь он мог широко общаться со всей громадой русского актерства, и здесь, наконец, через эту актерскую громаду он мог распространять вширь и вглубь открытые им театральные истины и законы.

Для Щепкина его провинциальные гастроли были вполне осознанной общественной и художественной миссией.

И этот сознательный, принципиальный подход артиста к многочисленным и продолжительным поездкам в провинцию дал неоценимые результаты.

«Влияние его на молодых людей, вступавших на сцену, было велико и благотельно: он внушал им серьезную любовь к искусству и своими советами и замечаниями об игре их много способствовал их

развитию», — писал о М. С. Щепкине в «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаев.

Воздействие гения Щепкина в той или иной форме не могло миновать никого из его театральных современников, вне зависимости от того, где — в каком городе и в каком театре — развивалась их артистическая деятельность.

Поэтому с большей долей достоверности можно предположить, что и видевший и знавший Щепкина Н. Х. Рыбаков не мог остаться в стороне от его идейного и творческого воздействия.

К сожалению, до нас не дошло никаких свидетельств того, когда, где и при каких обстоятельствах Рыбаков впервые встретился со Щепкиным. Может быть, это произошло в 1840 году, когда сначала Щепкин, а затем Рыбаков гастролировали в Воронежском театре, но возможно, что это случилось и несколько позже, в 1846 году, во время поездки Щепкина и Белинского на юг России.

Во всяком случае, по сообщению артиста И. И. Лаврова, встретившиеся в 1850 году в Полтаве Щепкин и Рыбаков уже были лично знакомы друг с другом.

Еще более обидно, что ни сам Рыбаков, ни писавшие о нем не оставили нам никаких прямых указаний на то, что именно воспринял Рыбаков у Щепкина и как он относился к его творчеству.

Но и вне зависимости от того, вспоминал ли в своих беседах или не вспоминал Рыбаков Щепкина, благоговел ли он перед его памятью так же, как он благоговел перед памятью Мочалова, или нет, для нас не может подлежать сомнению, что основные положения системы Щепкина навсегда вошли в плоть и кровь Николая Хрисанфовича Рыбакова.

Непосредственно ли у Щепкина или у актеров его школы, но Рыбаков глубоко воспринял народность, гуманистические устремления и реализм Щепкина, а также свойственное великому артисту трепетное отношение к театру и к своему искусству. Не подлежит сомнению и то, что Рыбаков создал реалистические, сатирические образы гоголевского Земляники и купцов-самодуров Островского под непосредственным влиянием таких совершенных созданий Щепкина, как Фамусов и городничий. Как и Щепкин, Рыбаков в лучших своих ролях русского классического репертуара умел сочетать правду характеров с правдой эпохи и быта, умел подниматься до высот бичующей гражданской сатиры.

Передовое реалистическое направление в русском театре XIX века, основоположниками которого явились два выдающихся сценических деятеля эпохи — Щепкин и Мочалов, — стало также органическим путем развития их талантливое провинциальное последователя.

## ПЕРВЫЙ ТРАГИК ПРОВИНЦИИ

Вскоре после окончания гастролей Мочалова театр, созданный Млотковским, распался. Непомеренные расходы по постройке нового театрального здания, выстроенного харьковским антрепренером, пригласившим со стороны кредиторов разорили этого деятельного и предприимчивого человека, попытавшегося в мире спекуляции и наживы создать серьезный и культурный театр.

На место уехавшего из Харькова Млотковского во главе созданного им театра с начала 40-х годов становится так называемая «дирекция» — группа дельцов и предпринимателей из представителей местной знати и местного купечества.

И хотя Харьковский театр и в дальнейшем неоднократно собирал у себя яркую и талантливую труппу, хотя афиши его порой блистали главными именами лучших провинциальных и столичных актеров, но тот живой дух творчества, который царил здесь в 30-х годах, в пору юности Рыбакова, на многие годы был безвозвратно утерян.

В 1841 году Рыбаков расстался с горячо полюбившей его публикой, с товарищами по театру и решительно вступил на путь актера-гастролера, актера-«бродяги».

Как ни странно, но в тайниках души такого вечного скитальца, как Рыбаков, актера, чье имя надолго стало синонимом беспокойной, бродячей жизни бездомного гастролера, всегда жила глубокая, неистребимая жажда оседлости. Не случайно первые пятнадцать лет своей творческой деятельности Рыбаков отдал одному театру, который хотя и разъезжал в летние месяцы по окрестным городам и селениям, но все же имел свою постоянную зимнюю базу в Харькове, свой постоянный круг друзей и зрителей. С годами, по мере того как росла семья Рыбакова, по мере того как уходило прежнее здоровье и силы, эта тяга к оседлости, к родному углу не могла утихнуть в нем, но должна была возрасти многократно. И действительно, как бы ни была запутана карта гастролей Рыбакова, как бы ни напоминала она причудливый клубок случайных маршрутов и направлений, но неизменно все эти переплетающиеся между собой линии переездов и переходов начинались и заканчивались в одном и том же постоянном пункте.

Этим центром гастрольных маршрутов Рыбакова на протяжении почти всей его творческой жизни был и оставался дорогой его сердцу Харьков — город его юности, колыбель его артистической славы.

По крайней мере шестнадцать раз приезжал Рыбаков на протяжении своих скитаний по провинции в родной город, нередко задерживаясь здесь по несколько лет кряду и никогда не оставаясь менее чем на целый сезон.

И каждый раз какая-то неумолимая сила вновь и вновь срывала его с насиженного места и гнала в непроглядную тьму, по глухим, неприветным дорогам...

Десятки названий городов и ярмарок по преимуществу южных губерний России встречаем мы в послужном списке артиста. В этом списке наряду с крупными театральными городами, такими, как Киев и Одесса, попадаются какие-то «богом забытые», крошечные «медвежьих углы» старой русской провинции с полуразвалившимся сараем вместо театра, с полицмейстером, играющим роль «покровителя искусств», с беззастенчивым произволом кулака-антрепренера, с беспробудным пьянством нищей и голодной актерской братии.

Что же гнало артиста в его нескончаемые странствования, что заставляло его в холод и непогоду, на деревенских колымагах, а то и пешком, с котомкой за плечами перебираться из города в город, от одного антрепренера к другому?

Было тому несколько основных и решающих причин. Первая — чувство глубокой неудовлетворенности, обиды, возмущения подлым, торгашеским духом, царившим на всех почти частных провинциальных сценах, в том числе, после разорения Млотковского, и на самой дорогой для Рыбакова харьковской сцене. Вольнолюбивый, независимый нрав артиста не мог мириться с театральными порядками, при которых господствовали произвол и жестокая эксплуатация актерского труда, беззастенчиво попирались элементарнейшие права актера и человека.

Вторая причина — жажда новых зрителей, стремление отдавать свое искусство и свой талант максимально большему кругу людей, способных понять и оценить горячее слово правды, которое артист нес им с театральных подмостков.

И, наконец, третья — стремление Рыбакова сохранить за собой и совершенствовать близкие ему и любимые роли. В то время достичь этого можно было, лишь переезжая из города в город, так как в каждом провинциальном театре в отдельности репертуар был крайне текуч и ни одна даже самая значительная пьеса не выдерживала более двух-трех представлений.

А. Н. Островский писал об этом: «В провинции пьесы не повторяются, то есть ставятся только на один раз; изредка повторяются пьесы, имевшие огромный успех, — и то не скоро; если пьеса в повторение сделала сбор, — об этом говорят, как о чем-то небывалом; о каком-то чуде. Каждый день нужно давать новое или из старого то, что успели забыть и публика и артисты. Поэтому пьесы играют экспромтом, не уча ролей и без репетиций; сладят кое-как места, чтоб не путаться, и играют по суфлеру».

Переезжая с места на место, Рыбаков мог сохранять в своем репер-

туаре хотя бы несколько самых любимых своих ролей. В каждом новом городе, на новых зрителях он проверял верность своего истолкования образа и вносил в него после каждого очередного спектакля свежие краски, дополнения и исправления.

Тем не менее полностью достичь своей цели Рыбаков все же не мог. Если ему и удавалось в течение ряда лет додумывать и дорабатывать несколько самых значительных своих образов, то наряду с ними постоянно приходилось исполнять также бесконечное количество «проходных», случайных ролей в бесчисленных пьесах-однодневках, в наспех и кое-как поставленных «дежурных» спектаклях, идущих на потребу пресыщенного и скучающего в театре буржуазно-дворянского зрителя.

Нет, кажется, ни одного «благородного героя», ни одного отъявленного злодея в трагедии и мелодраме, заполнявших тогда сцены наших театров, которого не играл бы во время своих хождений по Руси Н. Х. Рыбаков.

Но за этим обилием имен скрывались их однообразие, бессодержательность и пустота. В громадном большинстве случаев Рыбакову приходилось растрачивать свои силы и талант на неблагодарный, ничтожный драматургический материал.

«Рыбаков, способный находить в себе темперамент настоящего драматического артиста, должен был выступать во всякой мелодраматической трухе, в ординарнейших переводных пьесах бульварного пошиба и в трескучих драмах Кукольника», — вспоминал в одной из своих статей писатель Боборыкин.

Купцы и подрядчики, по-хозяйски развалившиеся в первых рядах театральных кресел, диктовали театрам и актерам свои вкусы, свои законы, и хотел того или не хотел артист Рыбаков, но он должен был играть и играл в этих трескучих, щекочущих нервы фальшивых пьесах.

Трудно было в подобном репертуаре проявиться могучему *реалистическому* дарованию Рыбакова, и нередко фальшь произносимого им со сцены текста заставляла его переходить на декламацию и пафос. И все же в большинстве случаев простота и правда, к которым уже в молодости лежала душа артиста, в конечном итоге одерживали в нем решительную победу.

Об этом говорят и воспоминания людей, помнивших Рыбакова, и современные ему театральные рецензии.

«...Он сознательно приходил к убеждению, что в ходульной мелодраме и в трагедии необходимы человечность, правда, возможная простота. Он понизил, смягчил до некоторой степени тон трагика того времени и благодаря этому впоследствии быстро, отлично освоился сам с новым репертуаром Островского...» — писал современник Рыбакова, игравший с ним на одной сцене. (Курсив мой. — А. К.)

«Его страстная натура,— читаем мы о Рыбакове,— возмущалась бросающеюся в глаза уродливостью и фальшью существовавшей тогда манеры выражения сильных ощущений. Рыбакову едва ли не первому в провинции удалось произвести реформу в исполнении ролей его амплуа. Кто знает, каковы были наши трагики лет 30 тому назад (писано в 1876 году.— А. К.), тот согласится, что Рыбаков обладал какою-то прозорливостью, которая помогла ему понять задачи современной сцены».

Приятель Рыбакова по провинциальным скитаниям, театральный деятель, актер и писатель-демократ Самсонов в своей глубоко выстраданной и искренней книге воспоминаний «Пережитое» рассказывает о том, что даже старый ходульный репертуар времен молодости Рыбакова был «им очеловечен». «Велизарию, Ляпуновы и т. п. не убили в нем чутья и любви к правде и простоте».

И действительно, как ни трудно было искать правду, искренность и простоту в выдуманных и лживых пьесах, составлявших в те годы основу репертуара, Рыбаков и в годы своей молодости, подобно Мочалову, все же эту правду находил, где только и насколько только это было возможно.

Рецензии на спектакли, сыгранные артистом в 30-е, 40-е и 50-е годы, укрепляют нашу уверенность, что в лице Рыбакова русский провинциальный театр приобрел художника ищущего, пытливого и глубоко правдивого.

«Бог знает, в нем какая тайна скрыта. Бог знает, не выйдет ли из него со временем хороший трагический актер, который заменит нам потерю талантов славных в России...» — писал о Рыбакове в 1839 году во время гастролей Мочалова харьковский корреспондент журнала «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» А. Кульчицкий. И заключал: «Чтоб доказать, что мои предположения имеют основание, скажу... что в каждой его роли вы всегда найдете два-три места превосходные; иногда положения и выходы привлекательны, и даже выдаются целые роли, которые разыгрываются им постоянно хорошо и ровно. Так, например, кто не восхищался им в пьесе «Фрегат «Надежда»? И я помню, как он в другой пустой пьесе, «Поединок при Людовике XIII», взорвал меня и всю публику одним своим выходом. А роль Лефорта в «Дедушке русского флота»? О, посмотрели бы вы на этого гиганта, крепкого, сильного, бравого и так верно переносящего нас во время Великого Петра, у которого, кажется, все было в гигантских размерах...»

А спустя год воронежский рецензент писал об исполнении Рыбаковым роли Болотникова в трескучей пьесе Н. Кукольника «Кпязь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»: «Рыбаков имеет редкую способность *каждое слово из своей роли переложить ко вниманию зрите-*



лей... Он умный актер и редко ошибается в настоящем выражении роли, а потому и теперь он был хорош».

В 1847 году в Одессе Рыбаков в той же пьесе исполнял уже главную роль — Прокопа Ляпунова, игранную в Харькове и Воронеже Мочаловым. В рецензии, полученной журналом «Репертуар и Пантеон» из Одессы, давалась снова восторженная оценка игры провинциального трагика:

«Рыбаков, дебютируя в Ляпунове, показал нам свой талант и талант истинный, чувства неподдельные. Кто не помнит этих мест, так глубоко запавших в память, как, например, сцены Ляпунова с Михаилом во 2-м и 4-м действии, кто не содрогался и не сочувствовал Рыбакову при словах: «Что?.. Ты заснул?.. Князь! Ты заснул?.. Молчит...»

Или кто не помнит той грусти, так прекрасно выраженной Рыбаковым, когда он говорит: «Два солнца наши дружно закатились!» и др. Словом, чтобы постигнуть эти неподражаемые минуты, нужно было видеть самого Рыбакова...». (Курсив мой.— А. К.)

Несколько позднее в одной из рецензий «Харьковских губернских ведомостей» писалось по поводу исполнения Рыбаковым роли боярина Басенка в трескучей и надуманной пьесе Кукольника «Боярин Федор Васильевич Басенок», что «игра его была полна смысла, чужда театральным эффектам, неистового крика, размашистой жестикуляции... и натуральна». (Курсив мой.— А. К.)

Во время гастролей Мочалова в Харькове и Воронеже Рыбаков играл с ним в пьесе Полевого «Смерть или честь». Пьеса эта несколько выделяется среди других драматических произведений этого автора гуманностью своей идеи: честь дорога не только герцогу и графу, но в не меньшей степени и простому ремесленнику, защищающему доброе имя сестры, оклеветанной знатным царедворцем.

В пьесе Полевого Мочалов, исполнявший роль героя — Гюга Бидермана, увлеченный близкой ему темой защиты поправленного человеческого достоинства, создал один из лучших своих сценических образов. И тем не менее молодой актер Рыбаков, игравший графа Оттона, соперника Гюга Бидермана, несколько не тускнел от встречи с великим трагиком. Мочалов, Рыбаков и Млотковская (игравшая герцогиню) составили настоящий высокохудожественный ансамбль.

В 1839 году по поводу постановки «Смерть или честь» очень требовательный харьковский рецензент А. Кульчицкий писал: «Надо отдать справедливость Рыбакову, он и нынче, при такой успешной художественной игре Мочалова, все-таки играл хорошо... как не порадоваться, что на нашей сцене, хоть и изредка, хоть одно последнее явление пьесы, где играли Мочалов, Млотковская и Рыбаков, почти вполне удовлетворило требованиям драматического искусства».

И вслед за харьковским рецензентом, как бы вторя ему, писал через год рецензент воронежский: «Перед ним (Мочаловым.— А. К.) еще был наш провинциальный талант Рыбаков, и все это явление (сцена Гюга и графа Оттона.— А. К.) было исполнено высокой занимательности. Рыбаков был, кроме того, очень хорош во многих местах своей роли, да и вообще он играет *просто, без восклицаний, без неуместных фарсов, отчего его редко оценивают наши доморощенные судьи.* (Курсив мой.— А. К.)

Играя в Воронеже роль Неизвестного в пьесе Полевого «Параша-Сибирячка», Рыбаков, по отзыву того же рецензента, «был *прост, благороден*; одним словом, выказал все свои достоинства».

Из рецензий и отзывов современников при всей их беглости и подчас неконкретности можно сделать все же неоспоримый вывод: Рыбаков был прост, «натурален» настолько, насколько это было возможно в условной, трескучей мелодраме, он зажигался и жил ролью или сценой из роли там, где хотя отдельные правдоподобные ситуации или реплики в целом слабой и фальшивой пьесы могли возбудить к творчеству его глубоко жизненный, реалистический талант.

В. Г. Белинский, разбирая игру Мочалова в мелодраме Дюма «Гений и беспутство», совершенно точно указал на те пределы реализма, каких мог достигнуть даже самый большой и правдивый актер, играя в недостойной его таланта условной и ходульной драматургии:

«Мочалов прекрасно сыграл пошлую роль Кина в пошлой пьесе Дюма «Гений и беспутство». Но... во-первых, он сыграл ее так хорошо, как хорошо можно сыграть нелепую роль, то есть *относительно* хорошо, и в целой роли на него было скучно смотреть, хотя он показал крайнюю степень искусства; во-вторых, если у него было в этой роли два-три момента истинно вдохновенных, то эти моменты были чисто лирические, субъективные, в которых он, пользуясь положением представляемого им лица, высказал не дюмасовского Кина, а самого себя, и которые несколько не были связаны с ходом и характером целой драмы, и к которым, наконец, он привязал свое понятие, свое, ему известное, значение и смысл».

Очевидно, это был тот предел реализма в мелодраматическом репертуаре, которого достигал в Малом театре Мочалов и который был свойствен в провинции Рыбакову.

О том, насколько трудным, мучительным и неблагоприятным был для художника процесс преодоления надуманных, лживых и беспомощных ролей, можно судить по некоторым из дошедших до нас рецензий. Эти рецензии показывают, как в неравной борьбе с автором нередко терпел поражение даже такой яркий реалистический талант, каким обладал молодой Рыбаков.

Так было, например, при исполнении Рыбаковым центральных

ролей в совсем уже нелепых и бездарных мелодрамах «Железная маска» и «Живая покойница» (Воронеж, 1840).

«Хотя Рыбаков (Юлий) играл с особенной старательностью,— писал рецензент о первом из этих спектаклей,— однако ж все не мог удержаться от окончательного падения самой пьесы. Жаль, что Рыбаков не выбрал чего-нибудь лучшего для своего таланта и бенефиса».

В «Живой покойнице», пьесе, которую, по отзыву рецензента, характеризуют «пустота содержания, неестественность характеров, пропасть лишних вводных лиц, и при всем том трагическая возвышенная пафусность», «Рыбаков в роли Конрада был, против обыкновения, страшно часто брался за горло, как бы стараясь задушить себя; говорил монотонно; в 5-м только действии он подложил несколько огня в свои слова и пробудил на минуту внимание».

К Рыбакову 30-х и 40-х годов — годов его молодости — вполне могут быть отнесены слова Белинского, сказанные им в 1841 году применительно ко всякому вообще талантливому русскому актеру этого периода: «...нашему артисту нет ролей, которые требовали бы с его стороны строгого и глубокого изучения, с которыми надобно бы ему было бороться, померяться, — словом, до которых бы должно было постараться возвысить свой талант; нет, он имеет дело с ролями ничтожными, пустыми, без мысли, без характера, — с ролями, которые ему пужно натягивать и растягивать до себя».

Не виной, а бедой Рыбакова было то, что лучшие годы его театральной молодости ушли на исполнение недостойных его ролей.

Но так или иначе, репертуарный кризис, сгубивший творческие порывы и дарования не одного русского актера второй четверти XIX века, не мог не повредить развитию даже такого большого реалистического таланта, каким обладал Рыбаков. И, вероятно, мы так и не смогли бы судить о степени и характере его дарования, если бы Рыбаков, как и Мочалов, не получил наконец возможность попробовать свои силы на подлинно великих произведениях драматургии. Первая такая проба была в «Гамлете».

22 января 1837 года в московском Большом Петровском театре был в первый раз поставлен «Гамлет» Шекспира в переводе Н. Полевого. Впервые на русской сцене Шекспир шел не в переделке и не во французском классицистском переложении, а в переводе, хотя и не очень точном, но все же в основном верно передающем мысли и язык подлинника.

Благодаря гениальной игре Мочалова, давшего свое, национально-русское, демократическое толкование роли, воплотившего в Гамлете революционную идею активного обличения неправды и зла существовавших социальных порядков, день этот навсегда вошел в историю нашего театра как одна из знаменательных ее дат.

А через год, весной 1838 года, Мочалов приехал на десять гастрольных спектаклей в Киев, где в то время находилась труппа Млотковского. В числе прочих пьес своего репертуара Мочалов привез и две составившие ему славу шекспировские трагедии: «Гамлет» и «Отелло».

Цитированное в предыдущей главе письмо П. Иноземцева, ряд восторженных статей провинциальной прессы, воспоминания артиста Лаврова и других современников говорят о том неизгладимом впечатлении, какое произвел московский трагик в ролях Шекспира на своих провинциальных зрителей и партнеров, и в их числе на Рыбакова.

В этот приезд Мочалова в душе Рыбакова, по-видимому, впервые разгорелась мечта попробовать свои силы в трагедиях великого драматурга.

Мочалов поощрил и поддержал мечту молодого артиста. Он поручил ему роль Кассио в «Отелло» и сам подготовил его к выступлению.

Поддержка Мочалова оказалась решающей для Рыбакова. Когда вскоре после отъезда Мочалова Млотковский поссорился с первым трагиком труппы Бабаниным и тот накануне премьеры «Гамлета» ушел из театра, заглавную роль в трагедии поручили Рыбакову.

Задача подготовить роль Гамлета за одну ночь совершенно невыполнима, и если Рыбаков все же сумел в какой-то степени с ней справиться, и даже так, что, по словам одного из рецензентов, произвел своим исполнением совершенный «фурор», то это означает лишь, что еще задолго до ссоры Млотковского с Бабаниным Рыбаков, вдохновленный гениальным исполнением Гамлета Мочаловым, уже мечтал о роли датского принца и начал самостоятельно готовить ее.

В самом конце 1838 года труппа Млотковского играла в Полтаве. Здесь Рыбакова в роли Гамлета увидел путешественник Жданов, который об исполнении этой роли писал: «Господин Рыбаков обладает несомненным дарованием: он постиг довольно хорошо характер лица, им представляемого, изучил его и с благородством выполняет свою роль. [...] Рыбаков играл отчетливо, с неподдельным чувством; в некоторых местах, особенно в сцене, в которой он уличает в преступлении мать, он был очень хорош. К Офелии он был несколько холоден, но это очень естественно: им преобладала уже одна мысль — мщение. Переходы от ума к безумию в нем были очень естественны».

Уже из этого краткого описания явствует, что артист пытался следовать замыслу Мочалова, толкуя образ датского принца как натуру волевою, охваченную чувством мести и гнева против зла, царившего в датском королевстве, активно обличающую это зло. Вместе с тем есть основания полагать, что, стремясь вслед за Мочаловым создать образ волевого Гамлета, Рыбаков воспринял эту задачу на первых порах несколько прямолинейно, лишив шекспировский образ

философской глубины. В этом смысле на его игру не могла не наложиться печать практика постоянного исполнения ролей в мелодраме.

В следующем, 1839 году, во время гастролей Мочалова в Харькове, и в 1840 году, во время гастролей Мочалова в Воронеже, Рыбаков играет Гамлета в очередь со столичным гостем, причем в это время разгорается горячий спор между поклонниками обоих артистов по вопросу о том, кому же из них следует отдать пальму первенства.

Харьковский поклонник Мочалова П. Иноземцев писал ему: «С отъездом Вашим послана была о Вас статья, где говорили, что Рыбаков лучше Вас...» Иноземцев в письме вступает в полемику с этим мнением.

Без сомнения, многое в этом споре можно отнести за счет восторженности и пристрастности местных поклонников «своего таланта». Но даже и при этом условии сама возможность сопоставления игры гениального трагика в лучшей его роли с игрой молодого провинциального артиста говорит о незаурядности дарования и о крепнущем мастерстве Рыбакова.

Со временем роль Гамлета в его исполнении углублялась и совершенствовалась.

«Я отмечу эстетически прекрасную, высокоодушевленную, в некоторых местах даже истинно художественную игру г-на Рыбакова в «Гамлете», — писал рецензент «Репертуара и Пантеона» из Екатеринослава в 1843 году. И добавлял в примечании: «Я видел Рыбакова в этой роли четыре года тому назад и нашел большую перемену в пользу его. Таков всегда истинный артист: он непременно должен идти вперед: он идет назад, если стоит на одной точке, ибо искусство безгранично».

Еще более интересное свидетельство творческой эволюции Рыбакова в роли Гамлета находим у рецензента «Харьковских губернских ведомостей». Указав на подражательность и некоторую «однообразность» первых выступлений Рыбакова в «Гамлете», он говорит о переломном характере его исполнения этой роли на харьковской сцене 29 мая 1841 года: «В этот раз Рыбаков сыграл Гамлета от начала до конца так хорошо, как никогда еще не играл. Не говоря об успехе целой роли, были многие места, которые понравились бы самому взыскательному ценителю... Рыбаков целой роли дал иное направление, чем прежде. Колорит глубокой грусти, необходимый для каждого человека, как Гамлета, проглядывал у Рыбакова почти везде. А этого прежде мы не замечали, и это-то самое помогло ему быть более естественным и человечным».

В 1858 году те же «Харьковские губернские ведомости» вновь писали о Рыбакове — Гамлете: «Не театральный героизм, а величаво грустная простота разливалась в сценах принца датского с Офелией,

Розенкранцем и Гильденштерном. Монолог «Быть или не быть?» был передан спокойно, в неподготовленном раздумье».

«Грустная простота», «неподготовленное раздумье» — вот те определения, которые дают ключ к уяснению рыбаковской трактовки Гамлета.

Влияние гениального московского артиста сказалось у Рыбакова, как у подлинно талантливой и самобытной художницы, не в мелочном копировании неподражаемого образца, не в перенимании отдельных исполнительских приемов Мочалова, а в органическом, творческом приятии его идейного истолкования роли.

«С нами жил и действовал не безумец, а мученик разительных людских слабостей», — писал о харьковском исполнителе роли Гамлета один из зрителей. (Курсив мой. — А. К.)

Это кратко, но весьма точно определение Гамлета — Рыбакова дает основание думать, что Рыбаков, как и Мочалов, главной чертой в Гамлете делал его глубокую скорбь о человеке, противоречие между гуманистическими представлениями Гамлета о мире и тем человеческим падением, которое он видел вокруг себя, или, говоря словами Белинского, «несообразность действительности с его идеалом жизни».

Гамлет в исполнении Рыбакова не был слабым, безвольным и больным человеком, неспособным на героическое деяние. Он был жертвой безвременья, «мучеником разительных людских слабостей».

Несправедливость и неправда существующего порядка — вот причина душевного недуга Гамлета, убедительно раскрывавшаяся и Мочаловым и Рыбаковым.

При всей краткости и маловразумительности дошедших до нас рецензий на исполнение Рыбаковым роли Гамлета, сопоставляя их между собой, мы не можем не обратить внимания на одну любопытную деталь: все они отмечают в числе лучших, больше всего удавшихся Рыбакову сцен сцену ночной встречи Гамлета с матерью-королевой.

«Почти все 2-е действие, в 3-м действии сцена с Офелией, несколько сильных мест в сцене представления, монолог, когда король молится, сцена с матерью, — все это было исполнено с большим искусством и увлечением неподдельным...» — писал харьковский рецензент в 1841 году.

«Сцена с матерью была им сыграна мастерски», — сообщает одесский рецензент в 1846 году.

«В особенности сцена его с матерью (4-м действии) шла чудесно и была сыграна единодушно. Какое сильное и доходящее до глубины души значение придал он этим на бумаге ничего не значащим словам: «Покойной ночи, королева!» Оглушительные рукоплескания были ему наградою, и, надо признаться, вполне заслуженно», — говорится в за-

метке о гастролях Рыбакова в Костроме в 1863 году, помещенной в журнале «Пантеон».

Единомышленники рецензентов, писавших о сцене с матерью как о лучшем у Рыбакова месте в роли Гамлета, раскрывают многое в его трактовке шекспировской трагедии.

Полными огня и страсти словами взывает здесь негодующий Гамлет к уснувшей совести и чести королевы:

«Взгляни, гляди —

Или слепая ты была, когда

В болото смрадное разврата пала?

Говори, слепая ты была?

Где же был твой ум? Где был рассудок?

Какой же адский демон овладел

Тогда умом твоим и чувством, — зреньем просто?

Стыд женщины, супруги, матери забыт...

Когда и старость падает так страшно,

Что ж юности осталось?»

В этих клеймящих, разящих словах Гамлета, видящего в преступлении отца и матери отражение глубокой неправды всего мирового социального устройства, звучит его справедливый и испепеляющий гнев.

В сцене с матерью Гамлет выступает не как мечтательный и безвольный юноша (каким обычно изображали его со времен Гёте на Западе), но как человек, глубоко уязвленный ложью мира, как гневный обличитель этой лжи.

Рисую эту сцену в исполнении Мочалова, Белинский писал: «Это болезненное напряжение души, это столкновение, эта борьба ненависти и любви, негодования и сострадания, угрозы и увещания, все это разрешилось в сомнение души благородной, великой, в сомнение в человеческом достоинстве —

«Страшно,

За человека страшно мне!..»

Какая минута! и как мало в жизни таких минут! и как счастливы те, которые жили в подобной минуте! Честь и слава великому художнику, могучая и глубокая душа которого есть неисчерпаемая сокровищница таких минут, благодарность ему!..»

Акцент, который делал в сцене с матерью гениальный русский исполнитель роли Гамлета — П. С. Мочалов, в значительной степени определял общий активный, волевой характер его исполнения роли датского принца.

У Рыбакова сцена с матерью была также наиболее сильной, наиболее запоминавшейся во всей роли. Эта особенность его исполнения

Гамлета может служить прямым подтверждением того, что основная, ведущая тема роли — активное обличение неправды мира и стремление к иному, более справедливому общественному устройству — звучала у артиста убедительно и страстно.

Мочаловская традиция высокого гуманизма, мечты о прекрасном и свободном человеке нашла в Рыбакове своего последователя и продолжателя.

Но при наличии бесспорного совпадения основного замысла роли у Мочалова и Рыбакова последнего никак нельзя было назвать простым подражателем московской знаменитости.

Гамлет был самостоятельным созданием Рыбакова, близким по своей идейной сущности Гамлету Мочалова, но отличным от него по воплощению. Постепенное совершенствование молодого артиста в трагедии Шекспира, о котором говорилось в приводившейся нами рецензии «Репертуара и Пантеона» за 1843 год, очевидно, и состояло в поисках и нахождении Рыбаковым собственных средств воплощения шекспировского образа.

В первых, экспромтом сыгранных им спектаклях Рыбаков, очевидно, пытался лишь максимально точно скопировать гениальный мочаловский образ Гамлета. Прямым подтверждением этого является статья одного из харьковских рецензентов, отмечавшего, что роль датского принца менее всего удалась харьковскому актеру во время первых представлений, когда он пытался попросту повторить образ, созданный его учителем. Вместе с тем тот же рецензент отмечает, что в дальнейшем Рыбаков сумел постепенно создать свой собственный, оригинальный рисунок роли. Так, о спектакле, состоявшемся на харьковской сцене 29 мая 1841 года, рецензент писал: «Надо было видеть, какими глазами смотрел Гамлет на короля и какое странное душевное волнение выражалось у него на лице, когда он объяснял королю содержание пьесы...

Такая игра не могла быть следствием подражания...»

Большинство знаменитых западноевропейских исполнителей роли датского принца искали источник его слабости в нем самом, подчеркивали в Гамлете его безволие. Величайший русский Гамлет — Мочалов, перенеся акцент на несправедливость окружающего Гамлета социального устройства, подчеркивал прежде всего возмущение и гнев смятенной души. Рыбаков, как и Мочалов, делал упор не на безволие Гамлета, а на «разительные людские слабости» окружающего общества; но в качестве главного чувства своего героя он выявлял скорбь о поруганном человеческом достоинстве.

Возможно, в своей трактовке роли Гамлета Рыбаков пытался исходить из объяснения ее сущности, какое давал в знаменитой статье «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» В. Г. Белинский.



Великий критик, захваченный и покоренный Гамлетом Мочалова, все же на первых спектаклях не все принимал в его трактовке роли. «Мы видели, — писал Белинский о первом представлении шекспировской трагедии, — Гамлета, художественно созданного великим актером, следовательно, Гамлета живого, действительного, конкретного, но не столько шекспировского, сколько мочаловского, потому что в этом случае актер, самовольно от поэта, придал Гамлету гораздо более силы и энергии, нежели сколько может быть у человека, находящегося в борьбе с самим собою и подавленного тяжестью невыносимого для него бедствия, и дал ему грусти и меланхолии гораздо менее, нежели сколько должен ее иметь шекспировский Гамлет».

Из сказанного, однако, вовсе не следует делать вывод о глубоком и принципиальном различии в подходе к Гамлету у Белинского и у театральные истолкователей шекспировского героя — Мочалова и Рыбакова, не следует противопоставлять их трактовки друг другу.

Не нужно забывать, что именно Белинский первым отдал дань восторга игре Мочалова, что в ряде последующих представлений он целиком принял его исполнение, считая, что оно приближается к высшим пределам сценического искусства, к последнему возможному проявлению сценического гения.

В свою очередь Рыбаков, восхищенный и очарованный Гамлетом — Мочаловым, создавая оригинальный вариант шекспировского образа, в то же время продолжал и развивал основную мочаловскую тему. И Мочалов и Рыбаков были людьми одного лагеря, каждый из них глубоко ненавидел насилие и произвол, каждый из них искал в шекспировской трагедии мысли и чувства, которые сближали ее с мыслями и чувствами русских людей 30-х и 40-х годов XIX столетия. Общественный гнет николаевской России наполнял их сердца гневом и скорбью. Скорбь за угнетенного человека и гнев на его притеснителей — две грани гуманизма, и этими двумя чувствами определялись сценические трактовки Гамлета как у Мочалова, так и у Рыбакова.

Разница между ними была лишь в соотношениях, в пропорциях, но ни на миг не касалась существа вопроса.

Близость двух Гамлетов — Мочалова и Рыбакова — станет особенно знаменательной, если учесть, что и во времена Мочалова и после его смерти сцены обеих столиц знали и совершенно другую, глубоко реакционную трактовку образа датского принца.

Так, в изображении современника и петербургского соперника Мочалова — В. А. Каратыгина Гамлет был лишь

«В белых перьях, статный воин,

Первый Дании боец»,

дерзкий и отважный авантюрист, сражающийся за отнятую у него королевскую мантию.

Преемник Каратыгина на петербургской сцене, изнеженный и слащавый «первый любовник» Максимов пленял столичную аристократическую публику, создавая образ безвольного, утонченного и изящного молодого аристократа.

И, наконец, И. В. Самарин, сыгравший Гамлета на московской сцене в 1857 году, отходя от мочаловского понимания роли, по словам современного ему критика, создавал образ Гамлета, «сентиментального до приторности, верного до мелочности всему тому, что в Шекспире есть ветость и тряпка, до спущенного чулка и обнаженной коленки».

В сопоставлении с этими Гамлетами: «лейб-гвардейским» Гамлетом Каратыгина, изнеженным, аристократическим — Максимова, натуралистическим — Самарина — выявляется в полной мере все значение и ценность Гамлета — Рыбакова, подлинного продолжателя традиций великого Мочалова.

Почти до конца жизни Рыбаков являлся перед зрителями в облике скорбного и гневного шекспировского героя. Уходила молодость, уходила прежняя сила, но исполнение роли Гамлета продолжало совершенствоваться и углубляться.

«В то время Николай Хрисанфович был уже не молод, — вспоминала свою с ним совместную работу в Харькове в 1864 году артистка Е. Литовская, — да и фигура его не подходила к поэтическому образу датского принца, но обаяние, производимое на публику его игрой, заставляло забывать все».

Эта сила обаяния, сохранившаяся у артиста даже тогда, когда годы, казалось бы, уже не должны были разрешать ему выходить на сцену в роли Гамлета, заключалась прежде всего в том, что после смерти Мочалова Рыбаков оставался верен традициям героического искусства великого трагика. Почти до самого конца своего славного артистического пути Рыбаков продолжал нести в своей любимой роли высокий идеал, возникший у него еще в годы юности: скорбь за человека, искалеченного неправым социальным устройством, гнев на его угнетателей и притеснителей.

Поэтому и не принял Гамлета — Рыбакова «благопристойный» сановный зритель императорского театра во время дебюта артиста на александринской сцене в 1854 году.

Поэтому же восторженно принимали игру Рыбакова многочисленные провинциальные зрители, которым он посвятил свое большое и мужественное искусство: демократическая интеллигенция, революционно настроенная молодежь, выходившие на широкую дорогу общественной деятельности.

Высоко оценил игру Рыбакова в «Гамлете» актер-демократ, горячий борец с антрепренерским произволом в провинции, друг Н. А. Добролюбова — Л. Н. Самсонов.

В книге «Пережитое» Самсонов говорит о впечатлении, произведенном на него Рыбаковым в роли Гамлета, почти теми же восторженными словами, какими рассказывал сам Рыбаков об игре своего учителя — Мочалова, Самсонов вспоминает:

«Играл он при мне уже лет 50-ти Гамлета, но когда сказал Розенкранцу и Гильденштерну — «как же вы хотите играть на моей душе... весь театр заплакал бы!» Да, действительно, весь театр плакал, и я, играя с ним Розенкранца, тоже плакал. Это было в 62-м году в Саратове».

Такова была сила искусства большого артиста Н. Х. Рыбакова.

Ролью Гамлета не исчерпывался обширный шекспировский репертуар Рыбакова. Не менее десяти ролей сыграл он в разное время в различных трагедиях Шекспира. В одном только «Гамлете» он исполнил помимо главной роли Тень отца Гамлета, Гильденштерна и Клавдия.

Роль Тени Рыбаков сыграл в 1840 году в Воронеже, во время бенефиса Мочалова. Несмотря на то, что «Гамлет» в переводе Н. Полевого впервые появился на русской сцене всего за два-три года до этого, в провинциальном театре уже успел выработаться определенный наивно-условный подход к роли призрака.

«Надо сказать правду, у нас Тень играет таким вандалом, что он любое воображение посадит на мель. Горланит что мочи, марширует, вытягивает руки по швам... А костюм? А физиономия?» — писал из Харькова в 1839 году корреспондент «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду»».

И вот спустя год в Воронеже во время бенефиса Мочалова роль Тени досталась Рыбакову. Рецензент, описавший этот спектакль, остался недоволен его исполнением, но это его недовольство как нельзя лучше раскрывает истинные достоинства Рыбакова — актера высокой трагедии.

«Рыбаков (Тень), — сообщается в отчете о спектакле, — говорил слишком по-человечески, между тем как должно было дать голосу выражение замогильного пришлеца, отчего пропал незаметно весь сценический эффект, и, кроме того, он вышел с обыкновенною физиономиею, а мы привыкли представлять мертвецов с бледною и ужасающею миною».

Много «загробных пришлецов» и «выходцев с того света» пришлось переиграть в молодости Рыбакову в многочисленных переводных мелодрамах, шедших на сцене Харьковского театра. Все эти роли требовали от исполнителей лишь условных и трафаретных приемов «устрашения» и «запугивания» зрителей. Тем большей заслугой молодого Рыбакова является то, что он понял всю глубину различия между ходульной мелодрамой и трагедией Шекспира, сумел передать

правду и высокую человечность даже такого фантастического персонажа великого драматурга, как Тень отца Гамлета.

Чрезмерная скупость провинциальной печати во времена Рыбакова лишает нас возможности представить себе более или менее полно, как он играл роли Отелло, Макбета, Шейлока и короля Лира, но что артист играл их глубоко и сильно, а главное, искренне и человечно, не подлежит сомнению. Об этом говорит отзыв одного из зрителей, видевшего Рыбакова в 1874 году (за два года до смерти артиста) в роли Лира. «Невозможно забыть, — писал он, — того впечатления, какое производил Николай Хрисанфович в 3-м акте шекспировской трагедии, когда обессиленный Лир склоняется к изголовью в шалаше Тома и голосом, полным бесконечной любви и тяжелой скорби, восклицает: «Корделия! Корделия!» Два десятилетия протекли с того времени, но это восклицание звучит в наших ушах, как будто вчера мы слышали его».

То же самое подтверждается и еще одним свидетельством — рассказом актрисы Е. Литовской, игравшей в «Короле Лире» с участием Рыбакова Корделию.

«Никогда не забуду я роль Корделии в «Короле Лире», — рассказывает она. — Николай Хрисанфович своей задушевной, теплой игрой производил на меня такое впечатление, что я страдала не «театральными», а человеческими страданиями и плакала натуральными слезами, отчего все сцены с ним выделялись рельефно».

Любопытно сопоставить это признание с уже приводившимися словами Л. Н. Самсонова — партнера Рыбакова в «Гамлете». Оба отмечают существенно важную черту в исполнении Рыбаковым ролей трагического репертуара — глубокую эмоциональность, человечность и задушевность его игры. Заставить своих партнеров по пьесе забыть, что они на сцене, и плакать настоящими слезами дано в удел лишь немногим и притом самым большим и самым искренним художникам.

О роли Шейлока в исполнении Рыбакова сохранилось упоминание журналиста И. Н. Захарьина (Якунина) в его книге «Встречи и воспоминания».

Говоря об исключительной силе впечатления от этого сценического образа, Захарьин утверждает, что роль Шейлока никто, кроме Рыбакова, за тридцать лет, прошедших с тех пор (воспоминания написаны в 1900 году), так хорошо исполнить не может.

И, наконец, писатель П. Д. Боборыкин, вспоминая исполнение Рыбаковым роли Отелло, отмечал, что «его игра дала нам впечатление таланта и трагического ужаса», что интонации артиста и по прошествии полувека сохранились в его памяти.

После Шекспира из западноевропейских драматургов-классиков Рыбакову был особенно близок Шиллер.

Еще совсем молодым, начинающим актером сыграл Рыбаков небольшую роль рыцаря Паулета в «Марии Стюарт», и сохранилось упоминание на то, что именно эта роль строгого, но благородного стража заключенной королевы впервые обратила на него внимание наиболее чуткой части зрительного зала.

Роль президента в «Коварстве и любви» Рыбаков сыграл впервые в 1839 году (во время гастролей Мочалова) и сохранил в своем репертуаре до последних лет жизни. Играл с большим успехом Рыбаков в той же пьесе и Вурма.

В 1852 году в журнале «Москвитянин» публиковалась статья о Ставропольском театре, антрепренером которого был тесть Н. Х. Рыбакова — К. М. Зелинский. В этой статье говорится о том, что лучшими годами в жизни театра Зелинского были 1846—1849, когда там играли трагик Рыбаков и комик Алексеев\*. А в числе лучших ролей Рыбакова, в которых его особенно хвалили ставропольские зрители, автор называет Гамлета и Карла Моора в «Разбойниках» Шиллера. К сожалению, провинциальные критики не оставили нам описания Рыбакова в этой последней роли. Тем не менее можно предположить, что образ смелого и неподкупного защитника поправленной справедливости доложил был полностью соответствовать как внешним, так и внутренним данным артиста. Косвенным подтверждением этого является то, что литературный герой, прообразом которого являлся Н. Х. Рыбаков, — актер Несчастливцев из комедии Островского «Лес», с неподдельным увлечением и страстью декламировал монологи благородного мстителя Карла Моора, вкладывая в их огненные слова свое, русское содержание.

И все же не Шиллер и даже не Шекспир оказались теми писателями, в пьесах которых ярче и полнее всего раскрылся самобытный, национальный талант Рыбакова. Молодого актера, умевшего видеть жизнь во всей ее полноте и многообразии, умевшего искренне и правдиво воплощать на сцене свои жизненные наблюдения, неизменно влекло ко всему подлинно значительному и яркому, что было и что вновь появлялось в русской драматургии.

Однако в первые годы творческой деятельности Рыбакова у него, как и у Мочалова, было еще очень мало ролей в русском классическом репертуаре.

Список пьес, игравших в тот период Рыбаковым, словно зеркало, отражает эволюцию русского театра, сложный исторический процесс постепенного завоевания им высот реализма.

\* Алексеев — петербургский и провинциальный артист. Оставил мемуары об Александринском и провинциальном театрах. Одна из глав воспоминаний Алексеева посвящена Н. Х. Рыбакову.

В 20-х и 30-х годах Рыбаков начинал с классицистских трагедий Озерова, игранных в начале века знаменитым петербургским трагиком А. С. Яковлевым.

Пройдя затем через романтический репертуар Мочалова и Каратыгина, Рыбаков к концу жизни стал одним из лучших воплощений ролей А. Н. Островского, И. С. Тургенева, А. К. Толстого, оказавшись в едином лагере с такими передовыми художниками-реалистами нашей сцены, как М. С. Щепкин, А. Е. Мартынов и П. М. Садовский.

Постепенно, медленно, но неуклонно шло творческое развитие и рост Рыбакова как актера и человека. Пядь за пядью завоевывал он одну за другой решающие позиции на пути к реализму.

В конце 30-х и в 40-х годах прошлого столетия он находился еще только на подступах к новому репертуару. Лишь глухие упоминания провинциальной прессы говорят нам о первых шагах Рыбакова в овладении образами русской реалистической драматургии.

В архиве Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина сохранилась программа спектакля театра Млотковского, состоявшегося 10 мая 1838 года в Киеве. В тот день шла комедия Грибоедова «Горе от ума» с Мочаловым в роли Чацкого. Роль Репетилова в этом спектакле исполнял Н. Х. Рыбаков.

После отъезда Мочалова Рыбаков перешел на главную роль — Чацкого. Вот что пишет видевший его в Чацком С. Турбин:

«По тогдашним понятиям роль Чацкого в «Горе от ума» должен был исполнять трагический актер; почему в Петербурге Чацким являлся Каратыгин, в Москве — Мочалов; на этом основании в Курске, Харькове, Ромне в Ильинскую \* являлся в роли Чацкого Рыбаков. По-теперешнему он был нелеп, но тогда производил решительный фурор. Даже самые завзятые москвичи находили, что Рыбаков в Чацком лучше Мочалова, что и немудрено: тогда декламация предпочиталась простому чтению.

Тогда же в приятельском разговоре Николай Хрисанфович говорил: «Какой я Чацкий? Я в самом деле похож на сумасшедшего... это не сплетня... это не выдумка Софьи Павловны... Я Скалозуб, чорт возьми!» Действительно, он был лучший из всех известных мне Скалозубов».

Трудно на основании этих строк составить определенное представление о том, почему роль Чацкого не удалась Рыбакову. Но во всем этом рассказе самым важным для нас является то, что уже тогда Рыбаков, несмотря на успех, которым он пользовался в главной роли комедии, понимал, что Грибоедова нельзя играть традиционными, мело-

\* Имеется в виду Ильинская ярмарка в Ромнах, куда обычно приезжали на гастроли театры Штейна и Млотковского.

драматическими приемами, и был неудовлетворен своей игрой. Рыбаков понимал, что для правильного истолкования Грибоедова он должен отказаться от всякой условности исполнения, должен черпать материал из наблюдений жизни.

Показательно и то, что в период наивысшего успеха у публики в амплу трагического героя Рыбаков уже мечтал о характерной, сатирической роли, завоевавшей ему в зрелые годы признание передовых, демократических зрителей.

Помимо роли Чацкого Рыбакову в этот ранний период его творчества довелось исполнить еще несколько ролей в русском классическом репертуаре. В 30-х годах в Харькове он сыграл Алеко в инсценировке пушкинских «Цыган», а в 1846 году в Одессе во время своего бенефиса поставил пушкинскую «Русалку». Рецензент сообщил об этом спектакле только то, что он прошел «с огромным успехом». После этого роль мельника в течение многих лет исполнялась артистом. Исполнял он ее с тем же «огромным успехом» и в 70-х годах на сцене Народного театра.

Прочно связал себя Рыбаков и с гоголевским «Ревизором». В конце 30-х годов в Харькове он сыграл Хлестакова, а в 1840 году в Воронеже — судью Ляпкина-Тяпкина. Позднее Рыбаков перешел на другую роль в бессмертной комедии Гоголя — Земляники, которая стала одним из его сценических шедевров. Рыбаков по праву считался лучшим исполнителем этой роли на русской сцене. Очевидно, первое практическое знакомство с характером гоголевской драматургии, относящейся еще к 30-м и 40-м годам, должно было во многом помочь артисту во время значительно более поздней его работы над образом попечителя богоугодных заведений Земляники.

Подводя общий итог приведенным здесь свидетельствам очевидцев — партнеров и зрителей Рыбакова — о его актерском искусстве в этот ранний творческий период, нельзя сразу же не обратить внимания на то разительное противоречие, в каком все эти свидетельства находятся с возникшей еще при жизни артиста и получившей особое распространение после его смерти легендой о том, что Рыбаков был художником, чуждым реализму и правде на сцене, что он был, по одной версии, эпигоном так называемой «каратыгинской школы» актерской игры (то есть мастером внешних эффектов и холодной, напыщенной декламации), а по другой версии — типичным трагиком — «оралой», «пускавшим, — как тогда выражались, — мозги в потолок».

Версия о том, что Рыбаков якобы являлся провинциальным последователем В. А. Каратыгина, возникла, по-видимому, очень рано, в дни молодости артиста.

Так, архиреакционная болгаринская газета «Северная пчела» еще в 1954 году писала о Рыбакове: «По уверениям многих, это современная знаменитость, это второй В. А. Каратыгин! Не привыкнув верить на слово никаким возгласам, мы остаемся в убеждении, что другого В. А. Каратыгина долго у нас не будет и он незаменим на сцене».

Самым решительным образом отклоняя барски пренебрежительный по отношению к Н. Х. Рыбакову тон этой заметки, заочно объявляющей, что на сценах провинции нет и не может быть артиста, приближающегося по степени дарования к знаменитому «лейб-гвардейскому трагику» (выражение А. И. Герцена) Каратыгину, нельзя согласиться и с теми близорукими поклонниками Рыбакова, которые с восторгом объявляли его двойником и копией петербургской знаменитости.

«Сам Николай Хрисанфъч Рыбаков» — так именовали артиста его товарищи и сподвижники по провинциальным сценам; и в этом эпитете «сам» звучало не только величайшее почтение к прославленному собрату, но и указание на единственность и неповторимость его дарования.

«Это — самобытная и оригинальная личность, вполне достойная занять страницу в истории русского театра. Каждый из провинциальных актеров на кого-нибудь похож, подражает кому-нибудь из знаменитостей. — Рыбаков стоит особняком, сам по себе. ... Говорят, он подражает Каратыгину, — но где же он его видел? Он только с Мочаловым сталкивался...» — писал партнер Рыбакова по сцене и его творческий единомышленник Самсонов. И то же самое подтверждает другой очевидец: «Я видел множество провинциальных трагиков, из них самобытным был только Рыбаков, все остальные подражали или ему, или Каратыгину, или Мочалову».

Вновь перечитывая эти свидетельства современников артиста, нельзя не присоединиться к их отрицанию зависимости творчества Рыбакова от Каратыгина.

И самым главным доводом, побуждающим к подобной точке зрения, является полное несовпадение идеологических позиций любимца двора и знати, «застегнутого на все пуговицы», «мундирного» санкт-петербургского трагика В. А. Каратыгина и актера — «плебея» и демократа Н. Х. Рыбакова.

Столь же необоснованной и предвзятой является и вторая, сочиненная после смерти артиста его идейными противниками версия об аффектированности и мелодраматическом характере актерского искусства Рыбакова.

«Несомненно, что Рыбаков в начале своей сценической деятельности... был «оралой», как и большинство трагиков», — писал в 1911 году историк театра Михайловский. И в том же году одна из



петербургских газет решила следующей творческой характеристикой «почтить память» умершего за 35 лет до того артиста:

«Театральный «крестник Мочалова», это был поистине грандиозный представитель пресловутого «нутра», которое им возводилось в высший принцип, в символ артистической веры и доводилось до апогея. Не ставить никаких преград чувству, страсти, «рвать их на части» — в этом Рыбаков видел первый и высший закон сценического искусства. И доходил в своей игре до дикого исступления, заставляя зрительную залу... приходиться в совершенно искренний ужас... Гром гремел, металась молния, и подавленный зритель прижимался к ручке кресла, испуганный, уничтоженный этой бурей темперамента, не желавшего знать искусства».

Глубоко несоответствие содержания и тона этих «юбилейных» статей, посвященных покойному артисту, той оценке его творчества, какая давалась обычно современниками под непосредственным впечатлением его игры, было вызвано в первую очередь тем, что авторы приведенных высказываний сплошь да рядом отождествляли репертуар молодого Рыбакова с его исполнением. Они не учитывали того, что артист, подобно своим гениальным современникам Мочалову и Щепкину, стремился преодолеть и по мере возможности преодолевал антиреалистичность и антихудожественность авторского текста.

Второй причиной, вызвавшей подобные несправедливые суждения о Рыбакове, было, бесспорно, то, что Рыбаков сам объявлял себя и был в действительности актером «мочаловской школы». А между тем для многих авторов позднейших статей о Рыбакове «оралой» слыл и сам Мочалов, актер, якобы «не признававший искусства».

Особенно очевидными станут несправедливость и односторонность подобных суждений о Рыбакове, как только мы подойдем к его деятельности в 60-х и 70-х годах, когда он выступил в качестве последовательного и талантливого пропагандиста Островского. Декламатор «каратыгинской школы», так же как и «актер нутра», «орала», не мог бы так легко и свободно перейти в новый, реалистический репертуар, как это сделал Рыбаков.

Но даже и не забегая вперед, а основываясь только лишь на характеристиках ранних ролей Рыбакова в мелодраматическом и трагическом репертуаре, а также на его первых сценических опытах в реалистических пьесах русских драматургов, можно с уверенностью сказать, что в лице Рыбакова русский театр приобретал актера ярко выраженного реалистического направления, и притом актера вдумчивого и ищущего.

Именно эти замечательные черты актерского облика Рыбакова в сочетании с общим демократическим направлением его искусства и обеспечили ему то безоговорочное признание и громкую славу, каки-

ми артист пользовался в провинции, начиная с 40-х годов прошлого столетия и до конца своей жизни.

Недаром еще в 1846 году один из читателей столичного театрального журнала «Репертуар и Пантеон» обратился в редакцию с просьбой поместить в очередных номерах журнала портреты Рыбакова, Млотковской и Соленика, как лучших актеров русской провинции. В своем ответе на письмо читателя редакция, называя Рыбакова, Млотковскую и Соленика «заслуженными провинциальными актерами русскими», целиком признает за ними право быть увековеченными для потомства. Редакция заверяет в ответной заметке, что она не помещает изображений этих трех сценических деятелей лишь из-за невозможности достать «их схожие портреты».

Часто выезжавший на гастроли в провинцию и игравший в это время на одних подмостках с Николаем Хрисанфовичем Рыбаковым знаменитый комик Малого театра В. И. Живокини отметил позднее в своих воспоминаниях: «На провинциальных сценах встречал я многих даровитых артистов, Особенно поразил меня Рыбаков».

О Рыбакове, вступившем в 1845 году в труппу Одесского театра, историк этого театра И. А. Гарновский писал: «Несмотря на свои тридцать четыре года, Николай Хрисанфович уже более 15 лет был профессиональным актером и к тому времени имел прочную известность, как лучший трагик в провинции... В провинции его считали театральным чудом, актером если не выше, то и нисколько не ниже Каратыгина и Мочалова».

Какой славой пользовался Рыбаков, можно, в частности, видеть из сохранившегося в семейном архиве Рыбаковых письма барона Е. А. Розена к Николаю Хрисанфовичу в Харьков от 5 апреля 1859 года: «...я желал бы ехать в Харьков, собственно, только затем, чтобы видеть на сцене знаменитого Николая Хрисанфовича Рыбакова [...] и проживу у вас в городе целый месяц, собственно, для того, чтобы подольше иметь высокое наслаждение видеть вашу игру, при виде которой верно можно сказать за одно с покойным Н. А. Полевым:

«Есть в жизни мгновения прекрасные,  
Кто на земле их знал,  
Не даром тот и жил здесь  
и страдал».

Завоевав признание зрителей, Рыбаков постепенно, шаг за шагом, начинает завоевывать даже такую цитадель, как провинциальная пресса.

Подтверждением этого может явиться весьма значительная по своему содержанию и по своим выводам статья из январского номера «Харьковских губернских ведомостей» за 1859 год, как бы подводя-

щая итог всего раннего этапа актерской деятельности Рыбакова. «Старая школа, — писалось в этой статье, — не коснулась самобытного таланта Н. Х. Рыбакова. Внешняя приподнятость исполнения нигде не выходит у него за пределы возможного, не выделяясь у него за пределы чувства и мысли; где нужно плакать, он плачет, и слезы его трогают публику. Когда нужно было выразить сетования или глубокую думу, он говорит вдумчиво и серьезно, его громкий от природы голос смягчается, звучит тихо и прочувствованно в правдивых интонациях необходимой речи». И вслед за тем тот же рецензент добавляет: «Артист, который вступил на свое поприще в то время, когда естественная правдивость игры считалась недостатком, когда все было заполнено расчетом на внешний эффект, удивляет теперь глубокой правдивостью и простотой своего сценического исполнения. Он везде естественен. *В комедии... он так же хорош, как в драме и трагедии.*» (Курсив мой. — А. В.)

Все интересно и знаменательно в этом отзыве харьковской газеты, дающей столь высокую оценку таланту и мастерству артиста, большая часть творческой жизни которого проходила на глазах у харьковских зрителей. Но, пожалуй, особенно знаменательной является самая последняя фраза данного отзыва, слова об успехе Рыбакова в комедии, ибо, заключая обзор первого этапа театральной деятельности Н. Х. Рыбакова, рецензент здесь как бы обращает внимание своих читателей на ту новую область, которая в это время начинает занимать центральное место в творчестве талантливого артиста. В 40-х и 50-х годах Рыбаков впервые исполняет роли Хлестакова, Репетилова, Ляпкина-Тяпкина, Скалозуба.

При всей незавершенности, а порой и художественном несовершенстве исполнения молодым Рыбаковым сатирических ролей в пьесах великих наших национальных драматургов работа артиста над русской классикой имела громадное значение для развития и становления его таланта.

Переходя к анализу дальнейшего творческого пути Н. Х. Рыбакова, следует помнить, что именно эти ранние, эскизно намеченные роли послужили зерном высокохудожественных реалистических образов, созданных артистом в лучших произведениях отечественной драматургии в годы его художественной зрелости.

## СТОЛИЧНЫЕ ДЕБЮТЫ

Два раза в жизни пытался провинциальный актер Рыбаков поступить на столичную сцену. Первый раз в 1852 году, когда он дебютировал в Московском Малом театре, и второй раз в 1854 году — в Петербурге, в Александринском театре. И оба раза дебюты Рыбакова кончались неудачей. Оба раза после нескольких выступлений Рыбаков врезанно, не предупредив никого, покидал столицу, чтобы вновь продолжать свой нескончаемый путь по бескрайним просторам России.

В чем причина этой дважды повторившейся неудачи? Что побудило маститого артиста, имя которого гремело во всех больших и малых городах провинции, с чувством глубокого недовольства и обиды уезжать из столицы?

Сам Рыбаков не любил вспоминать историю своих неудачных столичных дебютов, а если и рассказывал о них, то по большей части в форме шуточных «небылиц», в которых, как обычно, у него причудливо смешивались вымысел и правда. Шуточные и фантастические рассказы Рыбакова о его дебютах и породили то большое количество версий и легенд, которые дошли до нас в качестве ответа на эту загадку. Тут и версия о том, что Рыбаков вовсе не собирался поступать на казенную сцену, а пробовал свои силы «просто так» и, не дождавшись ответа дирекции, взял да уехал из столицы. И версия о том, как Рыбаков, якобы «хвативший через край» перед спектаклем, упал на сцене во время представления. И, наконец, еще одна версия, по которой Рыбаков вынужден был уехать обратно в провинцию вследствие театральных интриг, поспорившись с директором театра Гедеоновым.

Каждое из этих предположений имеет много самостоятельных вариантов, в которых полуправда, рассказанная Рыбаковым, обростала при переходе из уст в уста таким количеством невероятных подробностей и толкований, что под конец становилось крайне затруднительным доискаться до истинной первоосновы всех этих историй.

Объяснение отъезда Рыбакова из Москвы и Петербурга несерьезностью его намерения поступить в столичные театры опровергается рядом документов, хранящихся в Главном архивном управлении в Москве и образующих так называемое «Дело о дебюте артиста Рыбакова».

Обильная переписка, которая велась в январе 1851 года по вопросу о дебюте Рыбакова в Малом театре между директором императорских театров Гедеоновым и управляющим Конторой московских императорских театров Верстовским, указывающая на трудности получения дебюта в столицах, равно как и деловое заявление самого Рыбако-

он о его желании дебютировать на московской сцене,— все это говорит о серьезном намерении Рыбакова поступить на сцену Малого театра.

Да и мог ли артист, написавший в заявлении, что он просит сохранить за ним его провинциальное жалованье, «ибо я имею многочисленное семейство, которое единственно содержу моими трудами», позволить себе легкомысленную затею дебютировать в столице, не предпологая в действительности остаться там служить по крайней мере длительное время?

В романе «Театральные болота» (1866), посвященном жизни провинциальных актеров, писатель А. А. Соколов очень верно описал ту печальную участь, которая ждала провинциального артиста в случае неудачи его дебюта в столице. «Ехать в провинцию»,— говорил себе герой этого романа Гришин, неудачно дебютировавший в Москве,— и вдруг перед ним вырисовывались лица товарищей-провинциалов: он видел, что по губам их змеилась насмешливая улыбка, он читал в этой улыбке мысли, роившиеся в голове улыбающегося: «Столичный любовник,— мыслила голова,— целый год жил в столице, ничего не нажил, гроша не получил...»

Но мимо шли лица товарищей-провинциалов, и невдалеке уже светились примирение, помощь и участие со стороны бедных тружеников к своему собрату. Но грозно, как привидение, вставали перед Гришиным лица кулаков-антрепренеров; он видел, что столичная его неудача нахально запускает свою руку в его карманы и в провинции. Он слышал, как, коря его столичною неудачею, они сбивали цену с жалованья, прежде им получаемого, оспаривали количество полубецифисов, оспаривали многое и другое, чем красна жизнь бедного труженика».

Правдоподобно ли после этого, чтобы труженик Рыбаков позволил себе безо всякого основания, не дождавшись ответа, взять и уехать из Москвы, а затем через два года то же повторить и в Петербурге?

О подлинных причинах, заставивших Рыбакова пробиться на столь трудно достижимые для провинциальных актеров столичные сцены, рассказал встречавший артиста в начале 50-х годов писатель и поэт Н. В. Берг, в то время один из основных сотрудников так называемой «Молодой редакции» «Москвитянина». Берг сообщает, что к этому времени в уме Рыбакова «засела мысль: посвятить последние свои годы на серьезное изучение Шекспира и сценического искусства, съездить в Москву и попросить дебюта».

Человек, ставивший перед собой такую большую и серьезную творческую задачу, разумеется, не мог отнестись легкомысленно к своим столичным успехам, от которых во многом зависела возможность или невозможность осуществления задуманного.

Столь же мало убедительна и вторая легенда — о том, что запой послужил причиной срыва столичных дебютов Рыбакова.

Как и многие актеры русской провинции, изведавшие голод и холод, нужду и горе, Рыбаков нередко прибегал к вину, особенно же сильно пил он тогда, когда чувствовал тоску, одиночество, неудовлетворенность работой. Однако во время ответственных спектаклей, в дни творческого подъема Рыбаков, по свидетельствам современников, пил редко, и, во всяком случае, мы не знаем ни одного случая срыва спектакля из-за «нездоровья» артиста.

Что же касается первого московского дебюта Рыбакова, то о нем Берг прямо писал, что в период его подготовки Рыбаков «был неузнаваем. Кушцы никак не могли склонить его после иного эффектного спектакля к выпивке...».

В чем же тогда состояла истинная причина неуспеха и первого и второго столичных дебютов Рыбакова? На этот вопрос можно будет ответить лишь в том случае, если мы, с одной стороны, учтем те условия, в которых проходили в то время дебюты провинциальных актеров на столичных сценах, а с другой — примем во внимание актерские и человеческие качества самого Н. Х. Рыбакова.

Талантливые коллективы лучших в то время русских театров, Малого и Александринского, были в административном отношении подчинены крайне реакционной, казенно-чиновничьей дирекции императорских театров, в свою очередь находившейся в непосредственном ведении министерства двора, стремившегося включить театр в систему чуждых народу многочисленных придворных увеселений. Министерство двора и Контора императорских театров пытались сделать столичные театры проводниками официальной дворянско-монархической идеологии, требовали от актеров виртуозного, но чуждого жизни бездушного мастерства.

Вся эта программа идеологической и художественной организации «императорской» сцены неизменно встречала упорное и последовательное противодействие проникавшего в зрительные залы демократического зрителя, а также и демократически настроенных драматургов и актеров Александринского и в особенности Малого театров.

Против воли своего реакционного начальства столичные театры нередко ставили замечательные реалистические спектакли, отвечавшие на животрепещущие общественные запросы, в труппах этих театров выковывались прочные основы русской национальной школы реалистического актерского мастерства.

Благодаря своему выдающемуся актерскому составу, благодаря влиянию группировавшейся в столицах передовой, разночинной интеллигенции Малый и Александринский театры сохраняли за собой право именоваться первыми и образцовыми русскими театрами.

И тем не менее сама атмосфера закулисной жизни и внутреннего устройства этих театров была крайне тяжелой и затхлой. Это было вызвано системой произвола и низкопоклонства, усиленно насаждавшейся чиновниками из Конторы императорских театров.

Лучшие русские актеры, такие, как Щепкин, Мочалов, Мартынов, задыхались в обстановке закулисных интриг и происков начальства, притогиясь узостью и кастовостью своих театров. Атмосфера интриг, проникавшая сквозь двери, украшенные табличкой Конторы императорских театров, становилась особенно активной и гнетущей именно тогда, когда на горизонте появлялся какой-нибудь яркий провинциальный талант, выразивший желание попробовать свои силы на одной из привилегированных столичных сцен.

В этом случае против непрошеного претендента объединялось все: тут была и покровительствуемая двором наиболее реакционная часть актеров, видящая в пробующем свои силы дебютанте соперника и конкурента, и официальные театральные власти, смертельно боявшиеся всякого нового проникновения демократических тенденций на «императорские» сцены.

О тех терниях, которыми был уснащен путь провинциального таланта в столице, о враждебном этому таланту объединении чиновников Конторы с наиболее отсталой частью актерства писал убедительно и зло известный в свое время артист-ветеран И. Я. Рябов:

«Стоило только появиться новому таланту с провинциальной сцены, как домашняя вражда прекращалась сразу и вся плеяда враждующих быстро спланивалась в одно целое, враждебное только пришельцу. Конечно, если этот пришелец известный талант и должен занять место наряду с премьерами. Тут все сплотившееся уже не останавливалось ни перед какими преградами, лишь бы не допустить его до поступления в труппу».

Именно так, очевидно, произошло и в московском и в петербургском театрах, когда решил попробовать свои силы Рыбаков.

Во всяком случае, во всех дошедших до нас сколько-нибудь достоверных сообщениях современников о столичных дебютах Рыбакова говорится об «интригах и подкопах», которые артист встретил на «императорских» сценах со стороны дирекции и управления театров, а также и некоторой части наиболее кастово настроенных актеров.

Дебют Рыбакова, претендовавшего на занятое Полтавцевым и Леонидовым место «первого трагика труппы» (а об этом прямо говорится в «Деле о дебюте артиста Рыбакова»), не мог окончиться для него благополучно.

В. Н. Давыдов в «Рассказе о прошлом» говорил: «У дирекции императорских театров была гнусная манера давать артисту дебют, заранее зная, что он принят не будет».

В виде доказательства того, что дебют Рыбакова как раз и принадлежал к этой категории, а также в качестве одного из примеров сознательного недоброжелательства и прямого «подкопа» против Рыбакова можно сослаться на уже несколько раз приводившиеся нами воспоминания Н. В. Берга. Берг сообщает лишь об одной из тех многочисленных интриг, которыми дирекция встретила приезд в Москву выдающегося провинциального артиста.

«Синедрионом старых и новых знакомых Рыбакова было решено поставить «Гамлета». И он сам более всего был склонен изобразить перед московской публикой Гамлета, как его еще ни разу не изображали. Гамлета играли после Мочалова обыкновенно в его костюмах... Но для гиганта Рыбакова они вовсе не годились. Он был в них просто-напросто смешон. Однако дирекция сказала, что новых делать на один раз для дебютанта не станет: хочет — играет, хочет — нет! Рыбаков подумал, погадал, сосчитал свои немногие гроши, привезенные из провинции, их на новые костюмы не хватало, и он решился играть в старых мочаловских платьях. Это обстоятельство, новизна места, естественный страх сделали то, что дебютант был весьма не в своей тарелке...».

История с костюмом Гамлета — лишь один из эпизодов травли, организованной против Рыбакова в столичных театрах. Эта травля усугублялась тем, что в данном случае идейное и художественное расхождение между актером и Конторой было особенно острым.

Гражданственность в творчестве, вольнолюбие, независимость и чувство собственного достоинства в жизни — вот те определяющие черты рыбаковского облика, которых никак не могли принять чиновники из министерства двора и Конторы императорских театров. И по-видимому, именно эти грани творческого и жизненного облика артиста явились причиной того, что представители официальных властей, которые покровительствовали бездушно-виртуозному актеру В. В. Самойлову и изнеженному, «аристократическому» «первому любовнику» Максиму, не признали Рыбакова. Недаром после московских выступлений Рыбакова директор театральной конторы Гедеонов, стяжавший себе печальную славу душителя русских талантов, писал, что он «не видел еще большей надобности в дебютах Рыбакова»; недаром официальная критика «С.-Петербургских губернских ведомостей», сравнивая активного Гамлета — Рыбакова с пассивным и безвольным Гамлетом — Максимовым, снисходительно советовала дебютанту «лучше оставаться первым в провинции, чем далеко не вторым в столице». Недаром, с другой стороны, и сам Рыбаков уезжал из столиц с чувством глубокого возмущения.

«...И этот Голлаф пал перед массой завистников и удалился опять в провинцию», — писал о московском дебюте Рыбакова И. Я. Рябов и



приводил слова Рыбакова, сказанные им директору театра, лицемерно предложившему артисту попробовать взять второй дебют: «Благодарю, довольно!.. я валадаться не привык и служить у вас не желаю».

Так нарастал конфликт между передовым актером-реалистом и хранителями государственной идеологии на театре, конфликт, завершившийся в 1854 году в Петербурге прямым столкновением между Рыбаковым и директором театров Геденовым.

Вот как описывал это столкновение сам артист по прошествии двадцати лет в беседе с журналистом Захарьиным (Якуниным):

«Я еще в 50-х годах хотел было поступить в труппу императорских театров,— рассказывал Рыбаков,— и даже дебютировал и очень удачно, но потом, встретив против себя подкопы и интриги, чуть было не побил режиссера... Тогда меня призвал к себе директор театра и стал говорить мне:— По твоему таланту, говорит, я бы очень охотно принял тебя в труппу... Но я тотчас же перебил его:— Прежде всего и попрошу, ваше превосходительство, отличать меня от вашего лакея и булочника — не говорить мне «ты»...

Директор нахмурился и продолжал: — По таланту-то вашему и бы вас принял, но по характеру вы не годитесь: вы легко можете угодить в солдаты...— Ведь тогда, при Николае Павловиче, за строптивый нрав сдавали в солдаты не только «артистов», но даже попов по представлениям архиереев... Так я и остался весь свой век «провинциальным артистом — Несчастливцевым!»

Этот же разговор с Геденовым в несколько ином виде приводит и В. Н. Давыдов в своем «Рассказе о прошлом».

Таким образом, из сопоставления различных свидетельств выясняется подлинная картина столичных дебютов Рыбакова, выясняются и имена его творческих противников и недоброжелателей, помешавших артисту занять достойное место в труппах лучших театров страны.

Нужно сказать, что подобные конфликты между дирекцией театров и пытавшимися поступить на казенные сцены крупнейшими и талантливейшими актерами провинции были далеко не единичны. В качестве примера достаточно будет сослаться на эпизод, происшедший в Москве почти за три десятилетия до описанных событий и удивительно напоминающий собою только что приведенное здесь столкновение Рыбакова с директором Конторы императорских театров.

Эпизод этот произошел с полтавским и харьковским сослуживцем и приятелем М. С. Щепкина, известным провинциальным артистом Павловым. Вот как описан он в неопубликованных воспоминаниях брата М. С. Щепкина А. С. Щепкина:

«Когда г. Павлов хотел дебютировать на московском театре в роли Мейнау из комедии «Ненависть к людям и раскаяние» и во время репетиции стал употреблять обыкновенный, естественный разговор, ко-

торым он действительно вполне обладал в высшей степени, то г. директор заметил ему, что простой разговор на сцене не употребителен; тут требуется непременно декламация. Г. Павлов тотчас оскорбился и, не умея скрыть волнения, тут же сказал: «Ваше превосходительство. Чтоб судить об искусстве, для этого недостаточно генеральского чина». Разумеется, после таких слов он не был уже допущен к дебюту».

Против Рыбакова во время его дебютов неизбежно должны были выступать и выступали представители театральных властей и реакционной печати. А демократическая, передовая часть столичных зрителей не могла еще оказать ему в то время своей полной и решительной поддержки. Это было время последних лет николаевской реакции.

Но крепостничество готово было рухнуть под могучим натиском надвигающегося крестьянского движения, вслед за статьями Белинского и Герцена должны были разнестись по стране смелые революционные призывы Чернышевского и Добролюбова. Россия в 50-х годах прошлого столетия готовилась к вступлению в новую фазу своего общественного развития.

В эти годы все смелее и решительнее раздается требование народным зрителем своего самобытного русского демократического искусства, требование, с предельной точностью выраженное еще Н. В. Гоголем: «Русского мы просим! Своего давайте нам! Что нам французы и весь заморский люд? Разве мало у нас нашего народа? Русских характеров! своих характеров! Давайте нас самих!»

В 1847 году в газете «Московский городской листок» А. Н. Островский печатает свои первые драматургические произведения — «Картины московской жизни» и сцены из комедии «Несостоятельный должник». В 1850 году в журнале «Москвитянин» печатается его комедия «Свои люди — сочтемся», ранее ходившая по Москве в рукописи под названием «Банкрут». 14 января 1853 года на сцене Малого театра идет его комедия — «Не в свои сани не садись».

С этого времени новая, реалистическая драматургия начинает завоевывать прославленные подмостки старейшего русского театра.

Вызванные к жизни нарождающимся капитализмом новые общественные фигуры — купец-самодур и противостоящий ему русский демократ-разночинец, новые конфликты — борьба лучших русских людей с «темным царством» буржуазного произвола и самодурства — все это требовало своего выражения на сцене. Герой-современник выходил на широкий простор русского искусства, оттеснив собою старых, бутафорских героев классицистского и романтического театра.

Проникнуть в «темное царство» российской действительности и заклеить весь ужас царящего там произвола; увидеть и приветствовать первый робкий луч света, пронизавший непроглядную тьму

ночи, и угадать грядущую победу этого света над мраком и безысходностью — вот путь, который предстояло отныне совершить передовым художникам русского театра во главе с А. Н. Островским, вот тот круг идей, который только и мог теперь вдохновить и зажечь демократическую и революционно настроенную часть зрителей.

Рыбаков был актером-протестантом, актером, продолжавшим лучшие традиции скорбной и гневной мочаловской музыки. Однако и сам великий Мочалов в конце 40-х годов начинал терять ту безграничную популярность и безоговорочное признание, которыми он пользовался у публики в 30-х годах XIX столетия. Новый зритель уже не удовлетворялся абстрактным протестом его героев — он искал в театре прямого отражения русской действительности на ее новом историческом этапе, хотел видеть на сцене себя и своих современников. Вот почему великий критик-демократ В. Г. Белинский, подводя в 1848 году итоги творческой деятельности Мочалова, вынужден был заметить с глубокой горечью, что он «шел назад, вместо того чтобы идти вперед».

То же произошло в начале 50-х годов и с последователем Мочалова — Н. Х. Рыбаковым. В то время Рыбаков еще не знал только что появившихся в столицах первых пьес Островского. Для дебютов он привез свой старый провинциальный репертуар. Здесь были все те же набившие оскомину мелодрамы: «Скопин-Шуйский», «Велизарий», «Уголино» — пьесы, продолжавшие, правда, еще идти на сценах Малого и Александринского театров, но неизменно вызывавшие гневную и саркастическую отповедь у передовых зрителей и критиков.

И даже страстный протест Гамлета — Рыбакова казался в 50-е годы уже слишком абстрактным и далеким от действительности, он уже не мог полностью удовлетворить зрителя, желавшего видеть на сцене современную ему Россию. Это привело к тому, что Рыбаков, встретивший в столицах враждебное отношение реакционной печати и критики, интриги и происки театральной администрации, зависть актеров — фаворитов двора и знати, не оказался в центре внимания и у передовой театральной общественности Москвы и Петербурга. Он не был хуже столичных премьеров — В. В. Самойлова, А. М. Максимова, Л. Л. Леонидова, он был искреннее, ярче их, но он еще не нашел того нового слова, которое могло открыть перед ним сердца зрителей из разночинской демократической среды.

Официально дебюты Рыбакова на александринской сцене завершились холодно-вежливым свидетельством, выданным 11 мая 1854 года: «Актеру провинциальных театров Рыбакову в том, что во время бытности его в С.-Петербурге в текущем месяце он с старанием и успехом играл на сцене Александровского театра роли Гамлета в драме оного наименования и Ляпунова в драме «Князь М. В. Скопин-Шуйский».

## ТЕАТРАЛЬНЫЕ СКИТАНИЯ

И снова провинция, ухабы и распутица дальних дорог, споры с возницами, однообразие мелькающих полосатых верстовых столбов, зловоние постоянных дворов, грязные половые и холодные, прокисшие трактирные щи.

А в театре ни на миг не затухающая жестокая борьба с антрепренерами и с городскими властями: борьба за право на творчество, борьба за личную независимость и материальный достаток и, наконец, просто за свое достоинство художника и гражданина.

В записках актера Самсонова содержится живой и подробный рассказ о его странствиях с Рыбаковым в конце 1861-го и в начале 1862 года, — рассказ, дающий яркое представление о мытарствах, в которых прошла большая часть жизни артиста:

«Выехали вечером. Темно... Рыбаков везет с собою бездну мелочей: картонку с шляпою, сундучок с париками и т. п. Сидеть отвратительно! Мучимый вечною изжогою, Рыбаков все сопит и сердится. Только усядешься поудобнее, глядишь — он лезет в карман за содою: опять надо вставать...

...Безысходная грязь, дождь, изморозь, жердинки вместо мостов, плотины с провалами — вот дорога. Едем на вольных по 50 верст в сутки: чуть стемнело, шагу нельзя сделать... Мука, тоска... Небо без голубой полоски, одежда без сухой нитки. Старик Рыбаков измучился, спит. Кричат уже первые петухи. Ночуем в деревне Тишанки. Буду я помнить эту станцию!

...Трупа в Саратове полная. Я — лишний. Берг,\* однако, позволил играть десять спектаклей за полбенефиса и за пять рублей разовых... Рыбакову тоже десять спектаклей.

Опять надо ехать...

Грибоедов прав: Саратов — это глушь.

Театр очень хороший, трупа — приличная; а публики нет. Берг пустил на репертуар «Скопина», «Басенку», — и это не взяло! Рыбакову даже свистали.

Одни говорят: директор горд, ни к кому не ездит; другие: нужно было танцовщиц, девочек...

Уж говорили бы откровеннее... Что-то нехорошее кругом».

А вот и еще несколько строк из тех же записок Самсонова: «Уж месяц, как я с Рыбаковым в Пензе. Новый год встречали в театре, с театральным оркестром... Начались тосты, ура, поздравления... мы с

\* К. Ф. Берг — известный провинциальный актер и антрепренер. Последние годы жизни играл в Малом театре.

Рыбаковым сидели забытые. Старик у взгрустнулось: за тысячу верст от семьи!..

...Поедемте домой, Николай Хрисанфович!

... Через пять минут мы были дома и засели пить чай. Сколько грустных минут мы коротаем за самоваром!..

...Здесьнего «драматеса» Н. — Рыбаков оттеснил на задний план, отчего тот пьет и придирается ко всем, обругал полицмейстера хамом, почему и отрезвился в полиции в день именин беременной жены, которую по выпуске и приколодил до полусмерти... Благородный отец М-чанов пьян без просыпу; «обижен я, обижен!» — лепечет он. Все это пресмыкается перед Г., владельцем театра, стариком, выжившим из ума...

...Рыбаков делается все угрюмее, все чаще и чаще поглядывает на бутылку водки, которую подарил откупщик для театральной братии. Я боюсь за него... Он, видимо, грустит и ничем не доволен. Весь бенефис послал жене. Берет у меня читать книги, жалеет, что в молодости ничему не учился...

...Что за богатая натура! Голова и усы уже седые, но мышцы железные и глаза блестят, засвечиваясь еще большим огнем на сцене.

...Утром уехал в Харьков. Рыбаков на своих лошадях, да еще на каких! Выехал на паре, а приедет с приплодом — на тройке! Чудак. Охота тащиться три недели. Мне ужасно жалко с ним расстаться: я так привык к нему».

С середины XIX столетия в русской театральной провинции постепенно назревают коренные изменения, обостряющие и обнажающие ранее лишь намечавшиеся конфликты и противоречия.

«19-ое февраля 1861 года знаменует собою начало новой, буржуазной России, вырвавшейся из крепостнической эпохи\*, — писал В. И. Ленин. Примерно к этому же времени относится начало «разночинского и буржуазно-демократического»\*\* периода освободительного движения.

Новые силы и новые идеи, которые возникали и накапливались в стране, не могли не оказать своего влияния на развитие всего русского искусства, на творческий и бытовой уклад провинциального театра в частности.

К этому времени начинают становиться анахронизмом старинные бродячие труппы, подобные труппам Штейна и Зелинского, переезжавшие из города в город в своих разбитых бричках и фургонах. Ухо-

\* В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 174.

\*\* Там же, т. 25, стр. 93.

дят в прошлое театры, обслуживающие немногочисленными спектаклями целые огромные районы и области России и делавшие тем не менее полные сборы лишь в шумные дни ярмарок и дворянских выборов. Сейчас не то! Театральная лихорадка охватывает буквально все большие и малые города. Повсюду создаются стационарные театры, антрепризы возникают, как грибы после дождя, строятся театральные здания, растет и крепнет тысячная армия провинциальных актеров, и вместе с тем стремительно расширяется и демократизируется состав зрителей провинциального театра.

«Театры, бывшие в недавнее время исключительно принадлежностью губернских городов и больших ярмарок, теперь начинают появляться и в уездных, и количество их с каждым годом прибывает. В этом отношении провинции гораздо счастливее столиц: там театральное дело развивается соответственно потребности...» — писал в одной из своих «Докладных записок» великий драматург А. Н. Островский.

Однако количественный рост театров в провинции, служивший выражением бурной капитализации России, имел для русского искусства не только положительные, но и свои крайне отрицательные стороны.

Даже такой буржуазно ограниченный писатель, как П. Д. Боборыкин, характеризуя в книге «Театральное искусство» (изданной в 1872 году) современный русский театр, не мог не отметить предпринимательский характер его организации и структуры.

«Сцены, — писал Боборыкин, — эксплуатируются казенными управлениями, антрепренерами и акционерными обществами. Во всех трех типах хозяйство есть антагонизм между капиталом и трудом, особенно в типе антрепренерском. Антрепренер бьется только из-за того, чтобы получить известный процент с капитала. До строгого распределения заработной платы и прав труда ему дела нет. Акционерное общество действует так же... Находясь в зависимости от капитала, сценические деятели извращают в себе понимание своих настоящих интересов... Происходит жестокая борьба за существование, где себялюбие может развиваться до крайних пределов».

Но не только экономическое угнетение и бесправие нес капитализм в театр. Извращалось конкуренцией истинное «понимание своих настоящих интересов» у сценических деятелей.

Развитие капиталистических отношений и вызванный ими подъем театрального предпринимательства обнажили и растравили разъедавшие провинциальный театр глубокие язвы: беспринципность в выборе репертуара, вечную погоню за премьерными, крикливую рекламу, махровую пошлость, доступную пониманию и вкусу лабазника и спекулянта.

Еще больше увеличился разительный контраст между высокими художественными достижениями и гуманистическими принципами породовых сценических деятелей и той пошлостью и безвкусицей, какие насаждались в частных провинциальных антрепризах их владельцами и «меценатами».

Под влиянием занимающей все более значительное место в театральной жизни русской провинции городской демократической интеллигенции — разночинцев — лучшие провинциальные актеры увеличивали художественные требования к себе, стремились своим искусством отвечать возросшим требованиям современности. Именно в этот период русская сцена начинает выдвигать особенно крупные имена провинциальных артистов. И одновременно тут же, рядом с большими художниками — пытливыми искателями и творцами в искусстве, — театральная провинция порождает и другой тип актера — забавника трактирных завсегдатаев, ни на что не пригодного, нигде себя не нашедшего, лишенного достоинства и чести, пропойцы и фигляра. Этот тип, нередко выдаваемый за «правомошного представителя» русского провинциального театра, был на самом деле лишь болезненным наростом на его теле, лишь жертвой того страшного уклада «темного царства», при котором силой и властью в искусстве владели не те, кто был призван служить, а те, кто был наделен богатством и административной властью.

Великий друг и заступник русского актерства А. Н. Островский, как никто из его современников, понимал и сумел запечатлеть этот двойственный, противоречивый характер русского провинциального театра. Он писал о нем в статьях, докладных записках, письмах и, разумеется, прежде всего в своих пьесах.

В «Лесе», «Без вины виноватых», «Талантах и поклонниках», «Бесприданнице» перед нами проходят живые образы-типы зрителей, владельцев и тружеников провинциальной сцены.

Нравственное падение, творческая растленность всевозможных Смельских, Коринкиных и Миловзоровых, жалкое путешествие Аркашки Счастливецова, Шмаги и Робинзона еще больше подчеркивают в творениях великого драматурга духовное богатство и бескорыстную любовь к искусству таких лучших представителей театрального мира, как Геннадий Несчастливцев, Кручинина, Незнамов, Нароков.

И столь же убедительно и верно противопоставляет Островский гнусной своре театральных «поклонников» и «меценатов» — всем этим Муровым, Дулебовым, Бакиным, Великатовым и пр. — обаятельный образ студента Пети Мелузова — представителя той нарождающейся трудовой провинциальной интеллигенции, которой адресовали свое искусство и творческие порывы души лучшие люди русского театра.

С этими двумя столь правдиво нарисованными Островским контрастными сторонами жизни провинциальной сцены: с торгашеским духом антрепренеров — предпринимателей, с оскорбительной «благо-склонностью» «меценатов» и со светлыми порывами зрителей-демократов и лучших актеров к подлинно человеческому, насыщенному передовыми общественными идеалами искусству — и пришлось вплотную столкнуться во время своих бесконечных скитаний Николаю Хрисанфовичу Рыбакову.

Страшная власть над честью, над каждым шагом и словом артистов была вручена хозяицу-антрепренеру, купившему их талант, вдохновение и труд. О степени этой зависимости можно судить на основании хотя бы такого взятого наудачу из тысячи других примера: в «Правилах для артистов» Харьковского театра — одной из лучших провинциальных сцен, с которой больше всего была связана творческая деятельность Н. Х. Рыбакова, — официально провозглашалось, что «дирекции предоставляется генерал-губернатором право не только штрафовать актеров и уменьшать жалование или лишать их бенефисов, не стесняясь контрактами, но даже подвергать домашнему и полицейскому аресту»\*.

На основании этих и им подобных правил антрепренер или дирекция (если, как в Харькове, это был театр акционерного типа) получали возможность безнаказанно составлять до цинизма кабальные контракты с поступающими в труппу актерами, контракты, образцы которых стоит здесь привести:

«Роли, какие бы по моему (антрепренера. — А. К.) усмотрению ни назначал, не рассуждая и не противореча мне, принимать безоговорочно и выучивать твердо, в противном случае полагается штраф — месячное жалованье — и имею право отказать от труппы». Или другой пункт из того же договора: «Если я, [такой-то актер], по каким-либо причинам или капризам сочту себя стесненным и, вследствие этого, пожелаю оставить труппу и переехать в другую, то предварительно обязуюсь уплатить штраф в 500 рублей серебром; но если содержатель по своей воле и усмотрению пожелает отказать мне от места, найдя меня лишним, то имеет полное право это сделать во всякое время, без объяснения причин, и я лишуюсь права искать на нем какого-либо вознаграждения».

О том, что представляли собой эти театральные хозяева — директора и антрепренеры, можно судить хотя бы по такому описанию харьковской дирекции, помещенному в журнале «Русская сцена»

\* Эти правила были составлены еще в 1843 году известным театральным деятелем кн. А. А. Шаховским и действовали в Харьковском театре в течение ряда десятилетий.



из 1864 год: «Харьковский театр содержит антрепренер, которого называют директором-хозяином, для отличия от почетных директоров. Четыре почетных директора, и в числе их градской глава, составляют, вместе с директором-хозяином, театральный комитет... мы объясняем существование харьковского театрального комитета так: если дело лежит на одном лице, то лицу этому нельзя ничего не делать; а когда оно разделяется между многими, то каждый рассчитывает на других и ничего не делает. Почетные директора харьковского театра принадлежат к местной аристократии; градской глава приглашен в комитет только для счета.

В почетные директора всегда старается попасть и, разумеется, попадает какой-нибудь грешный старичок, вроде графа Зефирова в «Синичкине», если не граф и не князь, то генерал, окончивший свою службу отечеству и не знающий, со времени уничтожения крепостного права, что делать с собою и с своим временем; этот старичок, при бездействии других членов комитета, делается влиятельным лицом из любви к искусству, покровительствует актрисам с смазливый личиком. Если он видит в одном из актеров своего более или менее счастливого соперника, то по его настоянию комитет составляет протокол, что такого-то актера, как не пользующегося симпатией публики, для пользы театра необходимо удалить из труппы; и директор, несмотря на контракт и несмотря на то, что актер этот полезен, без возражения исполняет требование комитета...»

О том, каковы были в Харькове нравы и вкусы наиболее «кассовой» — аристократической и буржуазной — публики, можно судить по описанию в той же статье из «Русской сцены». Автор рассказывает, как пустует бельэтаж театра в течение всего театрального сезона, кроме периода ярмарки. «Но если приезжает в Харьков,— продолжает автор статьи,— убогая балетная труппа, называющая себя варшавскою, то бельэтаж полон; если какой-нибудь шарлатан показывает в театре ученую собаку — бельэтаж полон; если дает свои представления в театре прощелыга-фокусник, разыгрывающий в лотерею издыхающую лошадь,— бельэтаж полон. Наконец, составьте спектакль любителей с водевилем на «французском» языке, бельэтаж будет непременно полон!.. Но давайте «Доходное место», «Тяжелые дни», «Горькую судьбину», что хотите «русское» — в бельэтаже хоть шаром покати!»

Надо учесть при этом, что нарисованная здесь вопиющая картина относилась к театру, признанному в то время лучшим в провинции, к театру, попасть в который, по словам автора приведенной статьи, считал великим счастьем каждый сценический деятель провинции!

И вот русский актер Рыбаков, преданный своему родному городу, своему театру, пишет письмо в Вильно игравшему там выдающе-

муся русскому актеру Павлу Васильевичу Васильеву: «Милейший друг! Павел Васильевич! Если чтение этих строк не составит для тебя труда, то уж будь добр и окажи маленькую услугу. Дело вот в чем: вместе с этим письмом я писал в Вашу Дирекцию и предлагал мои услуги. Пожалуйста, порекомендуй меня, я знаю, что все от тебя зависит. Харьковская Дирекция выписывает Итальянскую труппу, а несчастную свою крохотную русскую труппу отсылает в Курск вплоть до Крещенской ярмарки. Я же не намерен крапнуть в Курске, в этой грязи, мне он боком вылез прошлого года; вполне уверен, что ты не отринешь моей просьбы и не забудешь любящего и уважающего тебя Николая Рыбакова. 13 марта 1865 г. Харьков».

И в следующем письме тому же Васильеву от 28 июля 1865 года Рыбаков добавляет: «Дела в Харькове мерзкие. Труппы почти нет. Петровский снял от Мезенкампа театр, да неплатежом жалованья последнюю труппу разогнал...»

Это преступное пренебрежение к русскому театру и к его актерам со стороны дирекции театра, в котором работал Рыбаков, со стороны газетных рецензентов, со стороны привилегированной, чуждой искусству «бельэтажной» публики было неизбежным спутником почти всей сценической практики.

Еще одно пожелтевшее от времени письмо, исписанное крупным мужественным почерком Рыбакова, лежит перед нами как обвинительный документ, обличающий гласных и негласных владельцев Харьковского театра, не умевших или не желавших оценить талант своего артиста. Письмо это написано Рыбаковым в 1870 году в зените его славы и адресовано режиссеру Харьковского театра М. В. Лентовскому.

«Милостивый Государь  
Михаил Валентинович!

с грустью вижу из распоряжений Ваших по репертуару, что я оказываюсь ненужным деятелем на Харьковской сцене, потому что подобные роли, как Хозяин в «Маскараде», Жид в «Вечном жиде», Анику в «Богатырях», дают состоящему на первом амплуа для того, чтобы извигаться поскорей от артиста, такого, как я, который со славою на сценическом поприще подвизается около сорока лет; припомните еще, что в продолжение моей трехмесячной службы я сыграл только три свои роли. Остальные же постепенно от меня отбирали и отдавали другим. Не дай бог Вам испытать то чувство, какое я испытывал. Но довольно, жалобы в сторону. Так как завтра идет «Вечный жид», то, чтобы не наделать какого-либо кавардака, я завтра буду играть. На предбудущее время прошу не ставить меня больше на афишу, потому что я больше служить не буду, для того чтобы хоть сколько-

нибудь сохранить хлеба для моего семейства. Иначе с будущего сезона мне предложат 30 руб. жалованья. Прошу Вас довести до сведения Николая Николаевича и попросить его (хоть по старому расположению), чтобы он прислал мне документ и сколько мне причитаться будет жалованья или бы уведомил меня, когда за ними явиться, потому что я на днях располагаю уехать в деревню и оттуда далеко на Восток поеду со всем семейством.

Все роли, какие у меня были, кроме «Вечного жида», которую завтра возвращу, при сем прилагаю.

С истинным почетом остаюсь Николай Рыбаков».

Сколько горечи и боли не только за себя лично, но и за весь горячо любимый им русский театр и вместе с тем сколько сдержанного, но глубокого достоинства таят в себе эти скупые строчки, написанные рукою маститого ветерана русской сцены!

В своих скитаниях по провинциальным театрам Рыбакову приходилось брать и ангажементы на короткие сроки для поправления своих материальных ресурсов. Примером такой поездки может служить поездка на месяц в город Сумы в театр Выходцева.

Сообщая жене в письме от 27 июня 1869 года, что «об Коренной (поездка с курской труппой на Коренную ярмарку.— А. К.) нечего говорить, она была пустою, выгод мало, расход на содержание большой», Рыбаков пишет: «Выходцев приезжал ко мне в Коренную, и мы уговорились с ним до 1 августа за 200 рублей сер. на полном его содержании».

Антрепренер летней труппы в Сумах был весьма популярный в провинции актер-комик Григорий Александрович Выходцев. Почти ровесник Рыбакова (родился около 1815 года, на сцене с 1831 года, умер в 1886 году), он много раз играл с Рыбаковым в одних и тех же труппах. В Выходцеве как в фокусе концентрировалось то балаганное начало, которое жило в творчестве многих провинциальных комиков.

Что же характеризовало Выходцева как актера? Прежде всего жажда аплодисментов. Ему не важно было, какой ценой достаются эти аплодисменты и хохот театрального зала. Его несколько не волновала судьба спектакля в целом. Играл ли он водевиль, фарс или Грибоедова, Гоголя, Шекспира—ему было все равно: его задача была одна—публика должна бесноваться и вызывать Выходцева. И он достигал этого. Добивался тем, что изображал в любом спектакле какого-то шута горохового. Человек малограмотный, говоривший «хучь»—вместо «хоть», «вить»—вместо «ведь», он на сцене специально еще уродовал и калечил слова—только бы они звучали почуднее. В текст автора—пусть это был даже текст классика, пусть он

был написан стихами — Выходцев вносил чудовищные отсебятины. Каждое свое появление на сцене он начинал с возгласа из-за кулис: «Хо-хо-хо!», или: «Вот и я иду!», или: «А ну-ка, нажаривай!». Его грубые отсебятины в тексте роли Фамусова и в мольеровском «Дон Жуане» (где он, кстати, Сганареля переименовал по балаганной традиции в Педрило) стали актерским преданием и передавались из уст в уста. Целое представление составляли заключительные выходы артиста на аплодисменты публики. Последняя всегда ждала какого-то очередного фортеля и никогда не ошибалась в своих ожиданиях: то Выходцев выкатывался на сцену в детской колясочке, то вползал на четвереньках, а то и просто на животе — как ящерица.

И вот, как это ни кажется странным, Выходцев был не только видным актером, но нередко и режиссером театров, где он играл. В числе последних был такой крупный и известный театр, как Харьковский. И было это в том самом 1860 году, когда в город приезжал и принимал активное участие в жизни театра А. Н. Островский.

Как только у Выходцева заводилось немного денег, он брался за антрепризу. И, что самое любопытное, делал это по тем временам не хуже, а иногда и лучше других. Объясняется все это тем, что Выходцев был человеком «трезвой жизни» и хорошо знал «механику» ведения театрального дела. При всем своем гаерстве и балаганстве он каким-то инстинктом чувствовал сокровенные потребности зала и охотно брал для постановок новую прогрессивную драматургию, в первую очередь пьесы Островского.

Рыбаков уезжал в свои нескончаемые «турне» по провинции, по куда бы он ни приезжал, к чувству творческой взволнованности от общения с новой публикой, к чувству творческой взволнованности от радости преодоления новых трудностей и овладения новыми ролями неизменно примешивалась глубокая горечь от того грубого произвола и глубокого унижения, которые повсеместно насаждались властями города и хозяевами театра. И чем глуше, чем «провинциальнее» был город, в котором приходилось жить и играть Рыбакову, тем больше унижений и притеснений переносили театральные труженики — актеры, тем глубже падало и грубее попиралось благородное искусство, которому Рыбаков посвятил свою жизнь. Несколько примеров, почерпнутых из воспоминаний людей, служивших вместе с Рыбаковым, помогают наглядно представить себе тот страшный, уродливый театральный быт, в котором жил и творил артист.

Вот один из многих подобных эпизодов:

«К тому времени, когда Н. Х. Рыбаков попал в нижегородскую труппу, — рассказывает живший в Нижнем Новгороде писатель Боборыкин, — театр держал негласно сам губернатор, князь М. А. Урусов... Заведование театром он поручил своему мелкому чи-

повнику Смолькову, феноменальному зайке, тогда совершенному невежде по части сценического искусства и драматической литературы...

Вот ему-то выпало на долю держать в повиновении Рыбакова, который явился уже с репутацией вольнолюбивого «трагика». И по городу стала ходить, между прочим, легенда, будто губернатор-литрепренер посадил его за что-то под арест... и не на гауптвахту, а в больницу «приказа общественного призрения».

Мы не можем сейчас проверить, на чем основывались слухи, о которых говорил Боборыкин, и соответствовали они действительности или нет, но уже сама возможность появления в городе подобной легенды говорит о страшном бесправии, в котором находился тогдашний провинциальный театр и даже такие крупные и известные его представители, как Н. Х. Рыбаков.

Об остроте и непримиримости борьбы, которую приходилось вести Рыбакову, как и многим другим провинциальным артистам, со светскими и духовными «отпами» города, может дать представление следующий описанный Н. В. Бергом эпизод, происшедший с Рыбаковым в начале 50-х годов во время службы артиста в одном из провинциальных театров.

Однажды, под праздник, Рыбаков и его товарищ артист Карабанов, вообще не отличавшиеся особой религиозностью, задумали отдать долг традиции и пойти помолиться в церковь. Но священник, узнавший в них актеров, приказал «выкадить» их из «святого места». Ни в чем не повинные артисты на глазах у всех прихожан были с позором вытолкнуты из церкви на улицу. Гордый и самолюбивый Рыбаков не смог перенести такое оскорбление: вечером того же дня актеры подкараулили попа на улице и в отместку выкупали его в грязной луже. А через день поп подал на них жалобу губернатору, и тот выслал обоих артистов за границу губернии с жандармами!

Можно привести и еще характерный эпизод из многотрудной театральной жизни Рыбакова. Эпизод этот относится к 1871 году, к моменту службы известного по всей России артиста в Саратове.

Антрепризу в Саратове держал Павел Александрович Никитин, талантливый актер и замечательный чтец (1835 — 1880). Еще летом 1869 года Николай Хрисанфович писал жене: «Ко мне заезжал Никитин в Коренную пригласить меня, тебя и Олю в Саратов. Я дал ему письмо к тебе, в котором поручил тебе договориться с ним за нас за всех...» Поездка в сезон 1869/70 года не состоялась, так как в скором времени обострилась болезнь дочери Рыбакова, страдавшей чахоткой, и она на руках матери умерла в ноябре 1870 года. Николай Хрисанфович играл в этом сезоне в Херсоне. В сезоне 1871/72 года Николай Хрисанфович с женой играл в Саратове. Какова была

обстановка в антрепризе Никитина — рассказывает в своих воспоминаниях артистка А. И. Шуберт.

«...Останавливались на Царицинской улице, в доме, заранее уже нанятом антрепренером Никитиным... Нам отвели по комнате, за которую мы должны были платить, как и за стол; мебели не было вовсе; ее мы должны были взять напрокат. Первое время мы спали и сидели на полу... Поселилось нас несколько семейств в этом доме: Никитины, брат и сестра Козловские, Рыбаковы, несколько холостых актеров, занимавших по комнате в том же коридоре.

К обеду мы должны были все собираться в столовой и ждать большого выхода сатаны. Отворялась дверь кабинета, и сам выходил, раскланиваясь на все стороны. Это был уже не прежний милый и любезный Паша Никитин, а сама власть и сила, — все уже забрались у него деньгами вперед, кто за прокат мебели, кто деньгами взяли, а мы, дамы, раскупали гардероб его покойной жены\*. Тон его сразу стал деспотичным. На старика Рыбакова он положительно кричал...».

Подобными рассказами с страшном закулисном быте, об унижениях и горестях актеров-скитальцев, которые довелось испытать и Рыбакову, полны воспоминания всех тех, кто на себе испытал суровый и беспощадный уклад старой русской театральной провинции.

Но в этом мраке русского провинциального театра были также и свои светлые стороны, скрытые от глаз слабых духом людей.

Вечная погоня за новыми пьесами и спектаклями, которая была характерна для театра провинции, в сочетании с крайне ограниченным в количественном отношении составом труппы бесспорно оказывала в целом крайне отрицательное влияние на художественную сторону театрального дела. И в то же время эта особенность частного провинциального театра имела для наиболее талантливых и стойких актеров свою положительную сторону.

Здесь, в провинции, актер получал такую громадную театральную практику, его репертуар был столь обширен, что в этом смысле столичные актеры, нередко годами ожидающие хорошей роли, могли лишь позавидовать своим провинциальным собратьям.

Недаром еще И. И. Сосницкий рекомендовал желающему поступить на сцену театральному любителю ехать в провинцию совершенствоваться в своем искусстве, недаром, как рассказывает артистка А. И. Шуберт, ее учитель М. С. Щепкин, сам начинавший в бродячей труппе Штейна, считал провинцию лучшей театральной школой. Пришедший в Малый театр из провинции современник Ры-

\* Жена Никитина — замечательная актриса Елена Адальбертовна Фабиянская — умерла 3 июня 1869 года.

бакова, великий актер-реалист Пров Михайлович Садовский, не удовлетворенный теми ничтожными ролями, в каких ему, особенно на первых порах, нередко приходилось выступать в столице, жаловался на свое положение: «Играю! Хороши роли, здравствуйте, прощайте... и уходить в средние двери. С этим, брат, далеко не уйдешь. [...] А вот я посмотрю, да и махну в провинцию. Там по крайней мере мне случилось играть хорошие роли».

Не следует забывать того, что именно провинция дала столичным театрам замечательную плеяду русских актеров-реалистов: Щепкина, Садовского, Савину, Стрепетову, Давыдова, Варламова, Ленского и многих, многих других, вплоть до актеров советского времени — Тарханова, Леонидова, Ст. Кузнецова, Корчагину-Александровскую.

При всей своей зависимости от интересов кассы и требований «бельэтажного» зрителя русский провинциальный театр был все же в известной мере демократичнее столичного театра.

Передовым художникам столичной сцены ежедневно и ежечасно приходилось вести незатухающую борьбу не только со своим непосредственным театральным начальством, но и с целым штатом правительственных чиновников, составлявших пресловутую Контору императорских театров, — учреждение, находившееся под непосредственным наблюдением и контролем самого царя. Это она, Контора императорских театров, всячески возносила и возвеличивала казенного петербургского трагика Каратыгина и привела к преждевременной кончине гениального актера-демократа Мочалова; это по ее вине сгорел от чахотки другой великий актер-демократ — Мартынов; на совести чиновников Конторы императорских театров трагические судьбы многих славных русских актеров: Стрепетовой, Ленского, Комиссаржевской.

Двор и Контора императорских театров насаждали на столичных сценах чуждый передовому русскому актерству классицизм и реакционный романтизм.

Там, где провинциальному артисту удавалось возвыситься над ремеслом и бескультурьем, присущими голодным провинциальным труппам, он мог легче, чем в столице, отстаивать свои творческие принципы, свои общественные и художественные идеалы.

Все эти «палачи», «червончики», «выжиги», как метко и зло называли актеры своих театральных хозяев, были озабочены в первую очередь выколачиванием доходов от искусства. На идейную же и художественную стороны театрального предприятия они хотя и влияли, но все же в гораздо меньшей степени, чем Контора, специально созданная для насаждения определенной идеологии в театре.

«Провинциальный актер только известная сила, которую антрепренер старается набить свой карман. Ему нет отдыха, потому что

антрепренерский флаг прикрывает все. Но эта сила — человек; из двадцати — двадцать первый барахтается, по-своему протестует; у него есть моменты торжества. В столицах протест ведет к гибели; в провинции терять нечего: живешь в день до вечера. Мыслящее и живое идет не туда, куда приказывают, и если падает, то поднимается с новой силой в свою минуту», — писал Л. Н. Самсонов.

К 60-м годам XIX столетия начал оформляться в сильную и монолитную группу провинциальный демократический, разночинский театральный зритель — студенчество, семинаристы, учителя, ремесленники, мелкие городские чиновники.

И если этот новый зритель еще не мог составить решающего большинства в зрительном зале провинциального театра, он все же начинал все более и более активно воздействовать на театральную жизнь своего времени. Зрители-разночинцы были сильны своим влиянием на передовую часть актерства. Эти зрители не владели ни капиталами, ни театральной «недвижимостью», они редко попадали на дорогие места в партере и бельэтаже, заполняя собою далекие ряды галерки. Но их звонкие голоса, их смелые суждения не пропадали даром для театра, к их требованиям и к их протестам вынуждены бывали все чаще прислушиваться даже сами дрожащие за свою кассу владельцы и содержатели театров.

Это они, разночинские зрители, начинали влиять на успех или неуспех того или иного спектакля, они горячо выражали свое одобрение или неодобрение вновь прибывшему в город актеру или поставленной на сцене новой пьесе и тем самым сплошь да рядом выранивали и улучшали репертуар театра. Только прямым воздействием передовой части провинциальной интеллигенции объяснялось наметившееся в 60-х годах широкое проникновение на сцены провинции классических пьес, пьес Островского и других передовых драматургов того времени.

Не мало страданий и лишений готовы были перенести провинциальные актеры, и наиболее яркий и прославленный их представитель Н. Х. Рыбаков, ради восторженных оваций этой разночинской интеллигенции и вольнолюбивой молодежи.

Рыбаков с честью нес свою великую культурную миссию, он видел и понимал, что его искусство нужно и дорого миллионам зрителей, которым он отдавал весь творческий жар своего сердца. Во имя этих простых и скромных людей, приходивших в театр не для праздного времяпрепровождения, а для того, чтобы учиться и постигать жизнь, маститый актер сумел отказаться от старых ролей и старых привычек. Во имя высокой правды, которой искали и требовали лучшие из его зрителей, он выбирает ту новую дорогу, которую указали ему его «неудачные» столичные гастролы.



## НОВЫЕ ГЕРОИ

Вернувшись после столичных дебютов в провинцию, Рыбаков все смелее и увереннее выступает в новых для него ролях Островского.

Зрелым художником, в ореоле славы трагика провинции, он горючо приветствует новых героев, новую школу, новый стиль игры.

Великий сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин, посвятивший многие гневные и скорбные страницы темным сторонам русской театральной провинции, писал в «Отечественных записках» за декабрь 1879 года: «В провинциальных театрах (особливо в тех, которые победнее персоналом) и доныне существует обычай, в силу которого один и тот же актер сначала является в роли первого трагика, а потом, вслед за сим, в роли первого комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагик надевает бланжевый парик и голубые штаны — этого совершенно достаточно, чтобы невзыскательная публика прыснула со смеху».

Совсем иным был переход на новое «амплуа» у Н. Х. Рыбакова. Он не был мгновенным и легким, он не совершился с помощью простой костюмировки, но зато, пройдя через ум и сердце артиста, он перестроил все его существо, весь его творческий облик. Это не значило, разумеется, что новые герои явились для него полной неожиданностью и что на всем старом ему пришлось поставить крест. Нет, основные особенности его творчества остались прежними и неизменными. Но реалистические, современные герои Островского требовали от их сценического воплощения и новых средств выразительности, новых красок, которые он мог почерпнуть только из окружающей его повседневной действительности.

Природный дар наблюдения помог Рыбакову сделать его новых героев жизненно достоверными, а глубокая искренность его натуры дала ему возможность, не поддельваясь полностью, претвориться в новые для него образы современных ему людей, проникнуться их чувствами, их страстями.

Многое подготовило Рыбакова к сценической встрече с героями-современниками: и раньше тянулся он к неумиряющим образам Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, стремился приблизить к своему времени героев классических трагедий Шекспира и Шиллера, по мере возможности вдохнуть жизнь в далеких от всякой, а тем более русской, действительности персонажей мелодрамы. Но тогда этим стремлениям не дано было осуществиться до конца. Фонвизин, Грибоедов и Гоголь были редкими гостями в репертуаре артиста, а Полевой и Кукольник ходульностью, трескучей фальшью образов своих героев противодействовали всем его попыткам создания полнокровных и реалистических фигур.

И часто, слишком часто, мощным звуком «органа», величественно пластичной классической позой или повышено аффектированной дакламацией Рыбаков прикрывал бессодержательность и ничтожность этих мертворожденных героев псевдопатриотической «трагедии» или мелодрамы.

Теперь он увидел перед собой широкий творческий простор, осуществленный мир своих стремлений. И он смело вошел в этот мир, стал своим в кругу художников-новаторов — реалистов и демократов. Рыбаков сумел «стать с веком наравне», не растерялся не отступил.

В начале 1860 года «Харьковские губернские ведомости» писали: «Крещенский театральный сезон, против обыкновения, отличался хорошим выбором пьес, исполненных тоже весьма удовлетворительно, благодаря участию Рыбакова». И затем: «Спектакли после пасхи состояли преимущественно из пьес Островского и Гоголя». А в начале 1861 года один из корреспондентов А. Н. Островского сообщал писателю из Харькова о том, что с отъездом Рыбакова и приездом в город другой провинциальной знаменитости, трагика Н. К. Милославского, в театре снова «пойдут Клары д'Обервиль, Серафимы Лафайль, Он помещан, Она помещана, Оно помещано и проч., и проч., и проч.». Слова эти являются несомненным подтверждением того, что уже в самом начале 60-х годов Рыбаков становится последовательным пропагандистом новой, реалистической драматургии, и его отъезд из Харькова воспринимался там как признак неминуемого снижения репертуара.

Это не значит, конечно, что прежний репертуар был полностью отброшен и забыт артистом во вторую половину его жизни. Еще много раз он будет играть и в «Велизарии», и в «Скопине-Шуйском», и в «Кине», и в подобных им пьесах. Но старые роли начнут все реже и реже появляться на афише. Их появлению каждый раз будут предшествовать настойчивые просьбы антрепренеров, спекулирующих на «трагической» славе Рыбакова, желающих поднять сбор трескучей, рассчитанной на внешний эффект мелодрамой. Чем дальше, тем меньший успех выпадал на долю артиста в этих ролях, отживших свой век, лишенных живого дыхания правды.

В конце творческого пути, когда становится все труднее и труднее творить, когда уходят силы, когда с каждым днем тают и убывают отпущенные природой богатства, Рыбаков создал самые значительные, самые глубокие сценические образы.

«Юность есть огонь и свет жизни; каждый человек по-своему бывает раз в жизни юн; но один сохраняет юность до двадцати лет, другой до тридцати, третий до сорока, и так далее; немногие... совсем не знают старости и цветут юностью под снегом волос дряхлой ста-

ности», — писал В. Г. Белинский. Одним из таких немногих был П. Х. Рыбаков. Как и другие великие русские артисты — Щепкин, Садовский, Станиславский, Качалов, Остужев, — Рыбаков с годами обретал мудрость и прозорливость большого художника. В старости пришел к нему высокий дар обобщения. А этот дар приходит лишь к тем деятелям искусства, которые, не цепляясь за обломки былых побед, не держась за прежние роли, за отжившие приемы, за давно ушедшее, неизменно сохраняют живое и пламенное восприятие нового, современного, которые живут жизнью своей страны и своего народа — его страданиями и его борьбой.

Время не властно над такими художниками, и весь их путь претращается в непрерывное движение вперед.

Однако понять необходимость нового репертуара, новых ролей еще не значило найти ключ к их созданию. Рыбаков не сразу овладел драматургией Островского и писателей его круга, не сразу сумел найти жизненно точное сценическое воплощение их персонажей. Нелегко было ему сменить римскую тогу Велизария на суконную поддевку и смазные сапоги замоскворецкого кушца.

Конец 50-х годов проходит для артиста в упорных исканиях. На московской сцене ему довелось видеть П. М. Садовского. Весною 1860 года Рыбаков принимал участие в гастролях несравненного Мартынова. Но быть простым копировщиком он и не хотел и не умел.

Он пытался своим путем достигнуть тех же результатов. Иногда критика пеняла ему за это. Так, по поводу постановки в Харькове в 1860 году комедии Н. Е. Чернышова «Не в деньгах счастье» местный рецензент писал, что в роли Боярышника предпочтение следует отдать петербургскому артисту С. Я. Марковецкому, «копировавшему... художественную игру нашего неподражаемого А. Е. Мартынова, а не Рыбакову, который сам создал роль Боярышника».

О том, как сильны были на первых порах рецидивы старого в новых ролях Рыбакова, рассказывает другая рецензия. В ней говорится, что, играя Тита Титыча Брускова из комедии Островского «В чужом пиру похмелье», Рыбаков «положительно не мог, не хотел или не умел понять характера представляемой им личности. Вместо кушца-самодура... явился тот же Ляпунов, тот же г. Рыбаков — Гамлет... Вообще г. Рыбаков в ролях кушцов Островского является всегда каким-то Велизарием или Ляпуновым, и потому понятно, что, выйкнув к внешнему блеску, он бывает таким же героем и в ролях, требующих более простоты и более человеческой игры... Костюм у г. Рыбакова на этот раз был совершенно почти ляпуновский: красная рубашка, длинная борода и заткнутые в сапоги брюки напоминали Прокопа Петровича, когда он является народу. Господину Рыбакову

стоило только взять в руки меч, снять длинный сюртук — и это был бы герой исторической драмы».

Это один из самых жестоких в отношении Рыбакова отзывов харьковской газеты, напечатанный 29 апреля 1860 года.

Но вот проходит всего лишь несколько месяцев, и та же газета начинает писать о Рыбакове совсем другое. 18 августа рецензент пишет о постановке драмы «Гроза» в Харькове, что «отдельные роли и вся пьеса исполнены были прекрасно», а персонально о Рыбакове, что «господин Рыбаков великолепно изобразил апофеозу самодурства в роли Дикого. Костюм, гримировка были превосходны».

Ответ на этот вопрос дается в той же рецензии: «Отдав должную честь господам актерам, мы должны прибавить, что их руководил в исполнении ролей А. Н. Островский».

Это краткое сообщение многого стоит. О том, каким театральным педагогом и режиссером своих пьес был Островский, — общеизвестно. В Харьков Островский приехал 8 августа 1860 года вместе с тяжело заболевшим Мартыновым. И хотя большую часть своего времени, сил, нервов писатель отдавал уходу за угасавшим другом, он все же не остался равнодушным и к нуждам харьковских артистов. Островский лично руководил ими при постановке двух своих пьес: «Гроза» и «Бедная невеста». И эти уроки не прошли для труппы даром. Особенно много почерпнул из объяснений писателя очень сдружившийся с ним Рыбаков. После встречи в Харькове Островский восхищается талантом провинциального корифея. Впоследствии он поставит его в один ряд с Мочаловым и Томмазо Сальвини; для Рыбакова (и в известной мере с него) напишет он героя своего «Леса».

Образы Островского — вершина творческой зрелости Рыбакова.

В тридцати пяти пьесах Островского, прошедших при жизни артиста, им сыграно не менее шестнадцати ролей, причем почти все они совпадали с ролями знаменитого актера школы Островского П. М. Садовского. В трех пьесах («Свои люди — сочтемся», «Грех да беда на кого не живет» и «Лес») роли их разошлись. В «Своих людях...» П. М. Садовский начинал с Подхалюзина, Рыбаков же сразу создал роль Большова, в «Грех да беда...» Садовский играл Краснова, а Рыбаков — Курицына, в «Лесе» Садовский выступал в роли купца Восмибратова, Рыбаков же был лучшим Несчастливцевым на русской сцене.

Когда в 1901 году передовая театральная общественность страны, крупнейшие актеры Малого театра отмечали 25-ю годовщину со дня смерти Н. Х. Рыбакова, реакционная пресса откликнулась на нее статьями и заметками, без конца варьирующими анекдоты о невежестве, дикости, чудачествах и пьянстве «этой провинциальной знаменитости», «этого необузданного любимца райка».

В потоке анекдотов и клеветы лишь изредка выплывали случайные заметки, правильно освещавшие подлинное значение и место артиста. Среди них обращает на себя внимание одна, никем не подписанная, но принадлежавшая, несомненно, человеку, хорошо помнившему и знавшему Рыбакова. Вот что писалось в этой заметке: «Рыбакова представляют каким-то мощным крикуном. Вся сила и все значение Николая Хрисанфовича заключались в том, что он был не крикун, а, напротив, актер, стремившийся к простоте и правде, враг деланности, рутины, ходульности. Ему собственное художественное, артистическое чутье подсказало, что нужно искать другого направления в искусстве, и он нашел его, он придал человечность исполнению, сделал первый шаг к реализму. Потому-то Рыбаков и выделялся, что кругом царствовали рутинка, фальшивая условность. Только при такой точке зрения на искусство знаменитый трагик и мог легко перейти на амплу житейской простой комедии. Он был именно человеком на сцене, а этого достичь мог тогда только выдающийся сценический деятель, сознававший всю фальшь и ложь ходульной мелодрамы».

Те из прижизненных рецензий и описаний ролей Рыбакова, в которых авторы пытались честно и объективно передать действительный облик замечательного артиста, полностью подтверждают эту его характеристику.

Одно из главных мест в новом репертуаре Рыбакова занимали образы купцов-самодуров, представителей «темного царства» русской капиталистической действительности, которых так беспощадно заклеивал в своих пьесах Островский.

Рыбаков, игравший самых различных представителей этого тупого и костного мира деспотизма и произвола, при всем разнообразии созданных им характеров везде умел сохранить одну основную особенность исполнения: глубокий обличительный пафос в изображении всевозможных проявлений самодурства и глумления над человеческим достоинством других людей.

Артист всегда был гневным разоблачителем этих своих героев; он был не адвокатом, но прокурором, обличающим преступления против человечности, умевшим находить корни самодурства не в случайных извихах и извращениях психики отдельных людей, но прежде всего в их социальной принадлежности, в самой системе их воспитания в старой царской России. И пусть протест против прогнившей общественной системы не был им самим до конца осознан — важно другое, то, что как художник он нес его во всех своих лучших образах, и зрители понимали и ощущали этот протест.

Бескомпромиссность Рыбакова, суровость его подхода к представителям «темного царства» современной ему России помогли артисту

глубоко реалистически истолковать такой противоречивый персонаж Островского, как купец Русаков из комедии «Не в свои сани не садись».

Пожалуй, ни одна из пьес драматурга не вызывала в момент ее появления столь горячей полемики, как эта комедия. Часть критиков во главе со славянофилом, поклонником традиций и старины Аполлоном Григорьевым подняла комедию на щит, восприняв ее как гимн в честь патриархального уклада. Революционно-демократическая критика во главе с Н. Г. Чернышевским, желая уберечь даровитого писателя от известного влияния славянофильской идеологии, сочла необходимым направить свой главный полемический удар на намечавшиеся в пьесе моменты отхода от позиций критического реализма.

В ту пору Чернышевский, поставивший перед собой цель вернуть талантливого писателя в передовой, демократический лагерь, оставившись в своей рецензии лишь на слабых сторонах пьесы, оставляя ее сильные стороны для последующей, более развернутой критики. Задачу всестороннего анализа комедии выполнил несколько позднее ближайший соратник Чернышевского — Н. А. Добролюбов в статье «Темное царство».

И славянофилы и революционные демократы основывали свой горячий спор по преимуществу на центральном образе пьесы — на Русакове.

И в самом деле, купец Русаков, по сюжету комедии проявляющий свою деспотическую власть над дочерью, показан в то же время, в отличие от других купцов-самодуров у Островского, человеком от природы умным и добрым, искренне желающим добра своей семье и своим близким.

Положительные черты характера Русакова в сочетании с его приверженностью к старому бытовому укладу и вызвали появление столь различных оценок пьесы со стороны критики.

В статье Добролюбова ясно показывается, что хотя Островский (как указал на это еще Чернышевский) в своей пьесе и «сгладил и уравнил некоторые грубые черты» темного быта Русаковых, «но и в этом смягченном виде, если всмотреться внимательнее, — сущность дела осталась та же»: «самодурство, в каких бы умеренных формах ни выражалось, в какую бы кроткую опеку ни переходило, все-таки ведет, по малой мере, к обезличению людей, подвергшихся его влиянию; а обезличение совершенно противоположно всякой свободной и разумной деятельности». Критик считал, что «комедию «Не в свои сани не садись» Островский — намеренно, или ненамеренно, или даже против воли — показал нам, что пока существуют самодурные условия в самой основе жизни, до тех пор самые добрые и благород-

ные личности ничего хорошего не в состоянии сделать, до тех пор благосостояние семейства и даже целого общества непрочно и ничем не обеспечено даже от самых пустых случайностей».

«Намеренно или ненамеренно» Рыбаков своим исполнением Русикова раскрывал ту же критическую, обличительную тенденцию, которую обнаружил в образе старого купца Добролюбова.

«Г. Рыбаков в роли купца Русакова,— писал в 1872 году один из рецензентов,— был совершенно на своем месте, роль принадлежала ему по праву, и для прекрасного исполнения ее он имеет все средства, патетические места были исполнены хорошо, но всей фигуре Русикова он придал излишнюю суровость... нам мягкий образ, созданный покойным Садовским, казался более подходящим к мысли автора».

Считая, что в характере Русакова должны отсутствовать черты суровости и деспотизма, рецензент показал свое полное непонимание этого сложного образа. Но для нас это представляется несущественным. Важно здесь другое — то, что его статья, помимо воли автора, является неопровержимым доказательством правильности понимания своей роли самим Рыбаковым, того, что добролюбовское обличительное истолкование драматургии Островского нашло в Рыбакове своего сценического воплощения.

Другая, несколько более ранняя рецензия на исполнение Рыбаковым той же роли в 1868 году в Киеве объясняет многое в том, откуда черпал артист суровые, осуждающие краски для характеристики своего героя.

Как уже отмечалось, Рыбаков, по примеру Добролюбова, вовсе не был склонен приписывать деспотичность Русакова его характеру, его дурным наклонностям.

«Г. Рыбаков в роли Русакова был очень хорош,— писалось в киевской рецензии,— ему удалось даже избежать ошибки, в которую впадало большинство виденных нами в этой роли артистов. Почти все они в сцене (первого акта) с Маломальским и Бородкиным, говоря о свадьбе дочери, почему-то считают нужным выказывать какое-то дикое упрямство. Между тем, говоря, что дочь должна выйти за того, кого выберет отец, Русаков... просто высказывает свой взгляд на вещи, мнение, составившееся под влиянием окружающей его среды и выработанное его собственными убеждениями... Г. Рыбаков в этой сцене (как и во многих других) был в высшей степени хорош и натурален».

Не частности, не скверный характер Русакова выявлял своим исполнением Рыбаков, но порочность самой системы его взглядов, нелепость и бессердечность «мнения, составившегося под влиянием окружающей его среды».

Справедливый гнев артиста, изведавшего па своем веку немало всяческих притеснений и обид от всевозможных «злых и добрых» самодуров, отразился в его сценическом создании и пропитал его той «суровостью», которую отметил рецензент и которая придала образу, созданному Рыбаковым, характер глубокого сценического протеста.

Если, играя Русакова, Рыбаков показывал, как извращает самодурство натуру от природы честную и мягкую, то в другом образе Островского, в образе Тита Титыча Брускова, он с потрясающим реализмом раскрывал те крайности деспотизма, до которых мог дойти самодур, не «смягченный» и не «облагороженный» природными качествами — умом и добротой.

Тит Титыч, или, как называет его жена, Кит Китыч, Брусов — герой двух комедий Островского: «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни». Рыбаков играл в обеих пьесах, и роль Брускова, оставаясь в его репертуаре в течение свыше полутора десятков лет, непрерывно углублялась и совершенствовалась артистом. Если в 1860 году, играя Брускова в комедии «В чужом пиру похмелье», Рыбаков был еще похож на своих прежних мелодраматических героев, то в дальнейшем артист сумел полностью преодолеть старые приемы и создать в комедиях Островского (особенно во второй из них — «Тяжелые дни») образ страшной, уничтожающей обличительной силы.

О том, как играл Рыбаков эту роль, дает представление уже первая из дошедших до нас рецензий в газете «Киевлянин» за 1868 год.

Рецензент, скрывшийся под инициалами Л. Н. Д., писал в своем «Письме о театре»: «2-го апреля, во вторник, летний сезон открыт был на сцене городского театра представлением известной комедии Островского: «Тяжелые дни»... Г. Рыбаков, на котором, конечно, главным образом сосредоточено было внимание публики, и в роли Тит Титыча сумел выказать себя замечательным артистом... Нашлись знатоки и ценители, очень серьезно сравнивавшие г. Рыбакова с г. Виноградовым\*, и притом к выгоде последнего! Многие, даже в первых рядах, стали утверждать, что новый артист не Тит Титыча, а какого-то расслабленного старика играет... Г. Виноградов, извольте видеть, играл купчика-буяна, из тех, что по трактирам посуду бьют, а первого квартального надзирателя хуже черта струсят. Ради этого подвязывался огромный живот, производился зычный крик на сцене, показывались жирные кулачищи и все такое, что совершенно попятно и правится у нас... нередко и первому ряду кресел.

\* В. И. Виноградов — известный провинциальный актер, премьер Киевского театра в 60-х годах. Позднее артист Александринского театра.



Представьте себе удивление сих ценителей, когда Г. Рыбаков не нашел нужным ни представить из себя подобие пузатого самовара красной меди, ни кричать зычным голосом, ни кулаками размахивать. «Что же это? Совсем даже не смешно выходит! Вот вам и знаменитость! Вот вам и прокричали!» Дело в том, господа, что Тит Титыч — не купчик-буян, любезный сердцам трактирщиков, и не смехотворная фигура... Человек, перед которым дрожит целая семья, который из минутного каприза способен загубить родного сына, у которого самодурство *quand même*\* вошло в плоть и кровь, сделалось почти пунктом помешательства,— такой человек не может быть только смешон. Тит Титыч не испугается квартального надзирателя: нет! он скорее 150 000 заплатит «настоящему» барину, чем даст 5000 какому-нибудь Мудрову. Расстояние между купчиком, грозным для трактирной посуды, которого изображал г. Виноградов, и деспотом семьи, фанатиком и апостолом самодурства, которого изображал г. Рыбаков,— огромное, Брускову — Виноградову приходится кричать и кулаками размахивать, потому что он смешон, а не страшен; Брускову — Рыбакову незачем так из себя выходить, потому что под простым его взглядом все трепещет. Но дать зрителям понятие об этом взгляде, заставить их трепетать за сына, за жену... быть смешным и вместе ужасным — вот это труднее, чем размахивать кулаками или подвязывать сорокаведерное пузо».

В этой рецензии яснее, чем в других отзывах, сказалась основная особенность игры артиста: умение вместе с драматургом вскрыть глубокий социальный смысл общественных явлений, принимавших у боее поверхностного актера характер анекдота.

У Рыбакова же эти явления оборачивались своей трагической сущностью.

Трагедийное дарование артиста, ранее проявлявшееся лишь в пьесах Шекспира и Шиллера, в сатирических комедиях Островского не растворилось, не исчезло, но нашло себе новое и неожиданное применение. Играя Брускова и подобных ему деспотов-самодуров, Рыбаков добивался такого накала, такой концентрации их низменных и подлых страстей, что зрителям было не только смешно, но одновременно отвратительно и жутко.

«Г. Рыбаков был положительно хорош в роли Брускова и играл ее совершенно своеобразно,— писал один из критиков в 1872 году,— ...в этом взгляде чуть-чуть сторбленного старика видна *такая страсть власти, такое самодурное влияние на окружающих, что сразу понимаешь положение и семьи Брусковых и разгул его необузданного всеволия*». (Курсив мой.— А. К.)

\* Несмотря ни на что (франц.).

Так выглядела в комедиях Островского национально-русская мещанская школа трагической игры, одним из представителей которой до конца своих дней справедливо считал себя Н. Х. Рыбаков.

Замечательной особенностью созданных артистом образов купцов-самодуров является их глубокая типичность, их подлинно обобщающий характер.

Интересным подтверждением этого является описание артиста в роли Тита Титыча, напечатанное в 1872 году на страницах одной из московских газет: «Г. Рыбаков прекрасно сыграл Тита Титыча, представивши тип грозного самодура-купца, смягчающегося, впрочем, тогда, когда его самого припугнут: переходы эти были переданы им верно... немые сцены прекрасны, и личность, представленная им, *типична*», — писал рецензент под свежим впечатлением спектакля.

Замечательной стороной творчества Рыбакова было и то, что типизация основывалась у него всегда на безусловном и безошибочном знании действительности, обобщение шло неизменно от конкретности, было враждебно схеме и (выражаясь современным термином) сценическому штампу, примером которого являлась обрисованная в статье Л. Н. Д. игра артиста Виноградова.

Сочетание типичного и индивидуального в творчестве Рыбакова убедительно раскрыто в одной из уже цитировавшихся рецензий на исполнение артистом роли Брускова в «Тяжелых днях».

Считая, что больше всего Рыбакову удалось сцены с адвокатами, рецензент характеризовал эти сцены следующим образом: «...внезапные взрывы гнева были чрезвычайно естественны и до того просты, что публика недоумевала: *не настоящий ли это Тит Титыч перед нею*». (Курсив мой. — А. К.)

Не менее ярко исполнял Рыбаков и другие роли Островского, создавая образы, основанные на знании действительности и полные жизни.

К числу великолепных его созданий относился и трагикомический герой одной из лучших комедий Островского, «Свои люди — сочтемся», — Самсон Силыч Большов, купец-деспот, становящийся жертвой собственного самодурства.

Артист подчеркивал в этом образе его грубость, тупую силу, не желающую знать никаких резов и уговоров, его неограниченную власть над окружающими. Характеристика, данная автором своему герою уже в самом его имени — Самсон Силыч Большов, — явилась для Рыбакова основой сатирического рисунка роли. «Его высокий рост, резкий с басовым тембром голос и характерно типическая наружность, — писал о Рыбакове современник, — как нельзя более подходили к роли, долженствующей олицетворить в себе и пабольшего в доме и грубую, непреклонную физическую силу».

Большов был груб, властен и непреклонен, но Рыбаков, как большой мастер сатирической комедии, умел острым и неожиданным приемом разоблачить и сделать смешным по виду столь грозного гиганта.

Добролюбов в статье «Темное царство» говорил о том, что власть самодуров покоится не на подлинной силе, а может проявиться лишь тогда, когда самодуру не оказывается сколько-нибудь серьезного и упорного сопротивления.

Рыбаков за внешне грозным обликом своего героя показывал его истинную трусость, проявляющуюся уже при начале затейного им рискованного предприятия — злостного банкротства, и жалкую униженность Большова, когда его опасная авантюра оборачивается против него самого.

В уже цитированной рецензии на спектакль современник описал, как мастерски Рыбаков в отрывочности своей речи и в выразительных взглядах, направляющихся на Подхалюзина, передавал трусость Большова. И дальше он же описывает, каким униженным и жалким появлялся в последней сцене Большов — Рыбаков, попавший в долговую яму и умоляющий дочь и Подхалюзина уплатить за него кредиторам хотя бы по 25 копеек за рубль. «Заявив Большова самодуром, — замечает рецензент, — г. Рыбаков дал вместе с тем заметить, что самодурство Большова... происходит не от дури, а от привычки к ничем не ограниченной власти...».

Потеряв власть, Большов теряет и силу. Эту основную мысль образа с предельной глубиной раскрывал своим исполнением Рыбаков.

К числу лучших сценических созданий артиста относятся и другие игранные им роли Островского: Гордей Торцов в «Бедности не порок», Курослепов в «Горячем сердце», Мамаев в «На всякого мудреца довольно простоты», Хрюков в «Шутниках», Дикой в «Грозе», Ахов в «Не все коту масленица», Неуеденов в комедии «Праздничный сон — до обеда». Каждое выступление Рыбакова в этих ролях встречало горячий отклик современников.

Вспоминая в своих мемуарах «Рассказ о прошлом» совместную службу с Рыбаковым, знаменитый русский актер и создатель ряда замечательных сценических образов в пьесах Островского В. Н. Давыдов писал: «А как он играл Островского! Нам до него, как до небес далеко! Однажды в разговоре с Островским я стал расспрашивать писателя об артистах, которые драматурга наиболее удовлетворяли. И я хорошо помню, как восторженно отзывался Островский о Рыбакове в ролях Дикого в «Грозе» и Тита Титыча в «Тяжелых днях», а в роли Ахова ставил его выше Садовского. Островский был художником новой эпохи, и признание им таланта Рыбакова служит лучшим показателем характера и направления дарования незабвенного артиста».

Можно предположить, что реализм игры Рыбакова, сила социального обобщения, умение раскрыть в каждом отдельном образе купца-самодура «апофеозу самодурства» принесли ему высокое признание любимого драматурга. Эти же замечательные особенности заставили Островского отдать ему в роли Ахова пальму первенства в сравнении с таким гениальным исполнителем этой роли, каким был П. М. Садовский.

В ролях Островского Рыбаков нередко одерживал победы и над другими замечательными актерами его времени. Так, об одном из выступлений Рыбакова в роли купца Неуеденова в комедии «Праздничный сон — до обеда» в 1861 году харьковский рецензент писал, что Рыбаков был «лучше всех» в спектакле, а между тем вместе с ним в тот вечер играл один из лучших Бальзаминовых на русской сцене, знаменитый провинциальный, а затем петербургский артист П. В. Васильев, а роль Бальзаминовой исполняла даровитая провинциальная «комическая старуха» М. И. Ладина.

Рыбаков смело и горячо обрушивал гнев на самые мрачные и постыдные стороны социального устройства старой России. Естественно, что такая особенность исполнения им ролей Островского, принесшая ему любовь демократической части зрителей и самого драматурга, вызывала непонимание, а чаще неприкрытую враждебность у зрителей «первых рядов».

В приводившейся статье Л. Н. Д. рассказывалось о презрительном высокомерии, с которым отзывалась «нервоядная» публика об игре Рыбакова в роли Брускова, о том, как эта публика предпочитала фарсовые выходки киевского премьера Виноградова суровому реализму старого артиста.

Отражением той же борьбы были и необоснованные обвинения некоторых рецензентов, упрекавших Рыбакова в том, что Русакову «он придал излишнюю суровость», что Тит Титыч Брусков вышел у него «слишком мрачен и суров и вовсе не смешон».

Но мог ли иначе изображать деспотов и самодуров такой правдивый и искренний художник, как Рыбаков? Подлинной заслугой его как артиста было то, что он в век безграничного господства самодурства сумел показать суровость и жестокость «мягкого» (по мнению славянофилов) Русакова, продемонстрировать во всем ее отвратительном безобразии страшную фигуру Брускова. И «мягкий» Русаков и «жестокый» Брусков были людьми одного мира, и это в первую очередь подчеркивал своим исполнением Рыбаков.

В каждом из этих образов артист был гневным обличителем «темного царства», каждое его выступление воспринималось зрителями как призыв к иным, более гуманным человеческим отношениям, к уничтожению гнета деспотов и самодуров.

Но актер, воспитавшийся в мочаловских традициях, на ролях героического плана, несомненно, должен был мечтать и мечтал о том, чтобы создать положительный образ современника, горячо выступающего в защиту попираемых человеческих прав.

Впервые Рыбаков смог осуществить в какой-то степени свою мечту, играя Любима Торцова из комедии Островского «Бедность не порок». Как рассказывает один из очевидцев, он изображал своего беспутного, но чистого сердцем героя с подкупающей «простотой и правдивостью сценических приемов». Сохранившиеся изображения трех крупнейших актеров в роли Любима Торцова — московского исполнителя П. М. Садовского, петербургского — П. В. Васильева и провинциального — Н. Х. Рыбакова — приоткрывают особенности трактовки этой роли каждым из них. Внешний облик Васильева говорит о том, что для него герой Островского был главным образом жертвой социальной несправедливости, человеком надломленным и глубоко несчастным. У Садовского в Любиме Торцове прежде всего обращают на себя внимание его доброта и человечность. У Рыбакова Любим Торцов выступает как обличитель, как друг притесняемых и обвинитель их бездушных притеснителей. Об этом говорит и гневная поза артиста в момент центрального монолога из последнего акта и весь величественный облик его героя — человека с несломленными душевными силами.

Но полное всего горячее стремление Рыбакова к прямому обличению несправедливости, ханжества и деспотизма сказалось при исполнении им другой роли Островского — провинциального трагика Несчастливцева в комедии «Лес».

Крылатая молва издавна накрепко сплела между собою два славных имени: реальное, но ставшее с годами легендой имя Николая Рыбакова и вымышленное гениальным драматургом, но поныне живущее жизнью бессмертного сценического образа имя Геннадия Несчастливцева. Рыбаков был объявлен жизненным прототипом Несчастливцева, и в этом была известная доля вымысла и большая доля правды.

Вымысел обнаруживается в фактах биографии того и другого артиста. Несчастливцев, по происхождению дворянин, был офицером, родственник богатой помещицы Гурмыжской, и лишь горячая любовь к сцене, романтическая настроенность души направили его на тернистый путь провинциального лицедея. Рыбаков вступил в театр с гораздо более низкой ступени общественной лестницы, он никогда и ничем не был связан с помещичьей усадьбой и ее обитателями, с ним никогда не приключалось ничего подобного тем драматическим событиям, свидетелями которых являются зрители пьесы Островского. Но в самом облике Рыбакова и Несчастливцева, в вольнолю-

бывости и смелости их характеров, в страстной приверженности к своему искусству сказалась их истинная и кровная близость.

Как и Рыбаков, Несчастливцев был заступником для своих товарищей-актеров, неизменно помогал всем нуждающимся в его помощи и советом, и участием, и кошельком.

Как и Рыбаков, он горячо вступался за обиженного и угнетенного, смело и открыто восставал против притеснителей-антрепренеров, против «почтенных» и именитых «отцов города». «Лев ведь я,— говорит о себе Несчастливцев.— Подлости не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение, братец, интриги; искусства не ценят, все копейчники». Эти слова героя Островского с поразительной точностью могут служить и для характеристики самого Рыбакова.

Оба они, Рыбаков и Несчастливцев — реальный актер и сценический образ,— на многие годы стали как бы собирательными типами, высоким обобщением лучших сил русского провинциального актерства.

Понятен и близок был Рыбакову и эстетический идеал Несчастливцева.

Несчастливцев — это Рыбаков ранней поры его сценической деятельности, это Рыбаков, еще не сыгравший роль Несчастливцева и других героев Островского; это актер-трагик мочаловской школы, пытающийся найти ответ на волнующие его общественные вопросы в героических, но далеких от современной ему русской действительности романтических шиллеровских драмах.

Рыбаков в последние годы жизни обрел воплощение своих творческих мечтаний в драматургии Островского. Несчастливцев — актер более ранней формации, мучительно ищущий правды и не находящий ее ни в жизни, ни на сцене. Но, как это делал Рыбаков, играя даже в напыщенной, трескучей, полной несообразностей мелодраме или в псевдоисторических «изделиях» Кукольника, Ободовского и Полевого, Несчастливцев пытался влить в ходульный язык этих пьес «душу, жизнь и огонь», искал для сцены подлинных страданий и подлинной страсти.

Для Рыбакова, как и для Несчастливцева, театр не был местом праздного времяпрепровождения и источником добывания легких доходов. Оба они были актерами-подвижниками, сознательно или бессознательно превратившими свое искусство в одну из форм общественного служения. И эта специфическая русская, национальная основа творчества также роднила между собой образ, созданный Островским, с его знаменитым исполнителем.

Слова о Н. Х. Рыбакове, вложенные драматургом в уста Несчастливцева, являются лучшим и самым авторитетным подтверждением

духовной близости обоих актеров, близости и идейной и эстетической:

«В последний раз в Лебедяни играл я Велизария, — рассказывает Несчастливцев своему спутнику и товарищу актеру Счастливицеву, — сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо... «Ты, говорит... да я, говорит... умрем, говорит...» Лестно».

Рыбаков, как лучший и наиболее уважаемый актер провинции, был высшим критиком и судьей для многочисленных несчастливцевых, был их идеалом актера, товарища и человека.

Автор театральных воспоминаний, театральный рецензент С. Г. Ярон, рассказывая о громадном уважении, каким пользовался Рыбаков у своих товарищей по сцене, прямо заявляет, что слова Островского («Лес») «сам Николай Хрисанфыч» не есть преувеличение; так и говорили: «Сам Николай Хрисанфыч похвалил — значит, хорошо».

В истории театра трудно найти другой пример такого полного и органического внутреннего слияния сценического героя и его исполнителя. Рыбаков как человек (самим фактом своего существования) и как художник (исполнением роли Несчастливцева) доказал жизненность и истинность одного из лучших созданий великого русского драматурга.

А между тем пьеса Островского и главный ее герой нуждались в сценическом утверждении, ибо реакционная критика, вообще полная яда и злобы в отношении Островского и его пьес, с появлением «Леса» с особенной яростью возобновила свои атаки на драматурга.

Нападки на Островского шли главным образом по двум направлениям: одни из писавших о «Лесе» утверждали нереальность, нежизненность образа Несчастливцева, подыскивали к нему всевозможные западные корни и аналоги, другие заявляли, что Несчастливцев якобы призван воплотить «грубое бескультурье» и «дикие нравы» русского актерства. При этом и те и другие в равной степени клеветали на Островского, на его героя и на само общественное явление, отражением которого этот герой являлся.

Одним из единомышленников драматурга, которые всем своим существом, убедительной правдой своего страстного искусства боролись с злобной кликой его клеветников и противников, был Н. Х. Рыбаков.

И, может быть, именно поэтому так мечтал драматург увидеть Рыбакова в этой специально предназначенной ему роли. Партнер Рыбакова по Общедоступному театру, артист А. З. Бураковский, пи-

сал: «А. Н. Островский страшно жаждал постановки своей комедии «Лес». Он хотел видеть в роли Несчастливцева Николая Христанфовича Рыбакова и услышать из уст самого Рыбакова фразу: «Сам Н. Х. Рыбаков положил мне руку на плечо».

Ожидания не обманули Островского: эмоциональная, искренняя игра артиста в роли Несчастливцева была проникновенным и действенным утверждением художественной правды драматурга.

До нас дошло два фотографических изображения Рыбакова в этой роли. Некоторая статичность позы, характерная для фотографий 70-х годов, не может скрыть главного — значительности и глубины образа, ставшего каноническим для многих поколений русских исполнителей роли благородного трагика.

Перед нами человек уже не молодой и даже несколько уставший, с крупными и резкими чертами лица, с пронзительными и умными глазами. От всего его облика веет достоинством и силой. Так и кажется, глядя на эту пожелтевшую от времени фотографию, что сейчас поднимется во весь рост могучая, исполинская фигура Рыбакова, и мы услышим его доходящий до сердца густой и звучный бас: «Комедианты? Нет, мы — артисты, благородные артисты, а комедианты — вы. Мы, коли любим, так уж любим; коли не любим, так соримся или деремся; коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе человечества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили?..»

О необычайной искренности игры Рыбакова в роли Несчастливцева рассказывал сын артиста, сам прославленный исполнитель Несчастливцева на сцене Малого театра, Константин Николаевич Рыбаков: «Играл он Несчастливцева, подчеркивая благородство души... увлечение классиками. Текст классика он не разграничивал с действительной жизнью и всегда находил житейские события подходящими к каким-либо моментам текста. И, высказав сначала свои мнения, он тотчас же непосредственно переходил в этот текст. Так, пронося тирады из Шиллера, Несчастливцев отца говорил их как бы от себя».

И Константин Николаевич тут же признавался, что он сам, играя Несчастливцева, старался «сохранить весь рисунок, данный в этой роли отцом».

Судя по отзывам современников, он сумел в значительной степени сохранить в неприкосновенности этот рисунок. По словам одного из рецензентов, «ни разу Геннадий в его (К. Н. Рыбакова.— А. К.) изображении не изменил первому своему впечатлению — искреннего человека... фразы о святости искусства... звучали у Рыбакова (сына.— А. К.) настоящим вдохновением, как порыв восторженной на-



туры». Не подлежит сомнению, что именно эта искренность и вдохновенность Несчастливцева в исполнении Константина Николаевича Рыбакова шла у него от органического восприятия житейского и артистического облика отца, являлась повторением «рисунка, данного в этой роли отцом». Произнесенные с внутренней убежденностью, живым и горячим чувством монологи Несчастливцева, направленные против «заедающих чужой век» бар-тунеядцев, не могли не восприниматься современниками как большое не только художественное, но и общественное явление.

Ролью Несчастливцева Н. Х. Рыбаков вписал одну из наиболее ярких страниц в свою богатую театральную биографию.

Благодарность и признание передовых русских зрителей во главе с самим А. Н. Островским были наградой старому артисту за тот высокий гражданский пафос, которым было пронизано его исполнение любимой роли, за то высокое эстетическое наслаждение, какое он нес с подмостков сцены.

Рыбаков видел и понимал то, чего не умели, а главное, не хотели понимать современные ему буржуазные критики — то, что пьеса «Лес» была задумана и создана ее автором как проникновенная повесть о героизме русского актерства и что роль Несчастливцева — это подлинный апофеоз странствующих провинциальных актеров-подвижников. Рыбаков ясно сознавал, что образ Несчастливцева был неразрывно слит с ним самим, с его творчеством и его жизнью. Не случайно именно этой ролью он отметил день пятидесятилетия служения родному искусству; не случайно и то глубокое душевное волнение, с каким, играя в «Лесе», произносил он посвященные ему знаменитые строки о «самом Николае Хрисанфыче Рыбакове»\*.

Роли в пьесах Островского явились завершением творческих исканий Рыбакова, но истины, открытые им в работе над пьесами драматурга-реалиста, оказались полностью применимы и к другим реалистическим ролям русского классического репертуара. В эту пору полной художественной зрелости артист с изумительным мастерством и глубоким проникновением воплощает на сцене ряд образов Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева, А. Толстого, находя в каждом из них простор для выявления своих наблюдений и размышлений над жизнью.

Трудно, не имея подробных рецензий, восстановить сейчас, как играл каждую из русских классических ролей Рыбаков, но общее

\* Эти слова Рыбаков стал говорить после торжественного представления «Леса» на сцене Общедоступного театра в Москве 11 мая 1876 года — в день празднования пятидесятилетия его сценической деятельности. До этого Рыбаков обыкновенно заменял в тексте свое имя именем трагика Корнелия Полтавцева.

направление здесь, как и в ролях Островского, было, бесспорно, критически-обличительным, реалистическим. Об этом говорит и сам характер иггранных им ролей и сохранившиеся фотографии артиста в этих ролях.

В «Недоросле» Рыбаков играл Простакова и Скотинина, причем современник, видевший его в остросатирической роли Скотинина, писал, что исполнял он ее «артистически». От второй роли Рыбакова в комедии Фонвизина сохранилось лишь несколько фотографий 1872 года (в Народном театре в Москве), но и они дают нам отчетливое представление о Рыбакове как о выдающемся реалисте и сатирике.

В «Горе от ума» Рыбаков, перешедший с годами с роли Чацкого на роль Скалозуба, был, по уверению очевидца, лучшим из всех известных ему Скалозубов.

Об актерском замысле Рыбакова этой роли можно судить по чрезвычайно любопытному сообщению знаменитого артиста Малого театра М. П. Садовского. Садовский в одной из своих неопубликованных рукописных заметок вскользь сообщает, что Рыбаков, играл Скалозуба, был удивительно похож «на покойного государя Николая I».

Учитывая, что портреты Рыбакова в жизни совершенно ничем не напоминают портретов царя-солдафона, можно предположить, что грим и весь облик Скалозуба были созданы артистом по совершенно определенному плану и были внешним выражением его оригинального и смелого творческого замысла.

Не меньшее место, чем персонажи Фонвизина и Грибоедова, в репертуаре Рыбакова занимают образы Пушкина.

Известно, что старый русский театр в целом так и не сумел достойно воплотить драматические произведения гениального поэта. История театра сохранила всего лишь несколько славных имен актеров, поднимавшихся до вершин пушкинского реализма, способных передать могучую силу его мысли, заключенной в чеканные строки стихов и прозы.

Щепкин и Мочалов, Ермолова и Ленский, Станиславский, Качалов и Остужев — вот те немногие имена, которые приходят на память, когда думаешь о театральной жизни героев Пушкина.

К числу больших художников сцены, овладевших хотя бы частью этого богатейшего театрального наследства, по праву можно причислить и Н. X. Рыбакова — создателя двух незабываемых пушкинских образов: мельника в «Русалке» и стационарного зрителя в инсценировке одноименной повести.

И в образе мельника и в образе стационарного зрителя Пушкин по-разному, в разных условиях проводил одну основную и опре-

доляющую идею: защиту человеческого достоинства людей из народа, попираемого бессердечием и эгоистичностью власть имущих.

Гуманная идея, лежащая в основе пушкинских образов, не могла не найти сердечного отклика у Рыбакова. Эту идею он сумел в полной мере донести своим многочисленным зрителям.

«Русалка», в которой артист выступил впервые в 1846 году, оставалась в его репертуаре до конца его дней. И если уже первое выступление Рыбакова в этой трагедии-сказке принесло, по словам рецензента, «огромный успех», то в течение всех последующих его выступлений в роли мельника успех этот лишь возрастал.

Рыбакову был близок полный искреннего драматизма образ мельника, его увлекала неподдельная народная стихия, которая ощущалась в каждом слове и движении чувств пушкинского героя.

В 1872 году роль мельника была сыграна Рыбаковым в Москве, в Народном театре на Политехнической выставке. Все рецензенты единодушно отозвались об этом выступлении артиста как о его большой творческой победе. «Что же касается до роли мельника, — писал один из них, — то г. Рыбаков был в ней безукоризненно верен той именно драматической правде, которая возлагалась на него всей сценой. Он не изменил себе ни в единой фразе, ни в одном даже слове».

О глубококом впечатлении, которое оставляла у зрителей другая пушкинская роль Рыбакова — стационарного зрителя Симеона Вырина, — сообщается в «Харьковских губернских ведомостях» за 1858 год. «Его рассказ на смертном одре о побеге дочери был проникнут такой простотой, таким задушевным чувством, что на глазах многих зрителей невольно являлись слезы» — так описывал игру Рыбакова под непосредственным впечатлением спектакля газетный рецензент. И почти теми же словами характеризовал ее через много лет после смерти артиста его младший товарищ по сцене В. Н. Давыдов: «Я хорошо помню его, например, в роли стационарного зрителя, которую он очень любил играть. Она поражала трогательной простотой, совершенно недоступной актерам, которые привыкли рычать, как тигры. Болезненный бред в третьем акте и тихий смех умирающего являлись созданием художника нашего времени и хватали за сердце потрясающей правдой. Все позднейшие актеры в этой роли копировали Рыбакова. Так он в ней был изумителен».

Искренность и задушевность, присущие артисту в пушкинских ролях, исходили у него из глубокого сочувствия страданиям своих героев, из чувства справедливого гнева на их притеснителей.

То же чувство гнева на притеснителей народа помогло Рыбакову наполнить негодованием и сарказмом образ попечителя богоугодных заведений Земляники из комедии Гоголя «Ревизор».

Пожалуй, ни об одной роли Рыбакова не сохранилось такого обилия восторженных рецензий, как о Землянике. Уже в первой из них (из Харькова в 1861 году) говорится, что «в роли Земляники у Рыбакова едва ли есть соперники».

В дальнейшем слава лучшего Земляники на русской сцене на многие годы была закреплена за Рыбаковым не только газетными статьями, но и устным преданием.

Вот несколько выдержек из рецензий, появившихся в московской печати в 1872 году после выступления Рыбакова в «Ревизоре» на сцене Народного театра: «Г. Рыбаков исполнил покуда только одну роль Земляники,— писал в «Московских ведомостях» Д. В. Аверкиев.— Но по одной этой роли его можно назвать отличным актером. Земляника явился несколько мрачным подлецом, который и спит и видит, как бы кому сделать пакость. Такой тип цельно вошел через всю пьесу: например, в первом акте, когда городничий отзывает в сторону почтмейстера, Земляника — Рыбаков встает, точно чтобы поразмять ноги, но подслушивает их тайный разговор и между тем как более добродушный судья замечает: «Глядите, не досталось бы вам». Земляника молча соображает, нельзя ли из подслушанного извлечь чего-такого, что насолило бы городничему.

Черта... делающая честь актеру, не забывающему до мелочей оттенить изображаемое им лицо. Вообще роль Земляники у г. Рыбакова замечательна по строгости рисунка, если позволено так выразиться. Хорош г. Рыбаков и в сцене с Хлестаковым, с этими приседаниями перед важным лицом и подозрительными взглядами по сторонам; точно так же отлично было выражено злорадство при чтении отзыва о городничем в письме Хлестакова и последующее затем пегодование, когда очередь дошла до него самого».

Рецензенты других газет и журналов лишь развивали и дополняли приведенную характеристику.

«Все исполнение роли отличалось поразительной простотою и той именно тиничностью, которая выказывала в попечителе богоугодных заведений «отъявленного проныру и плута»,— сообщалось в театральном обозрении журнала «Развлечение».

В «Вестнике Московской политехнической выставки» о Рыбакове в роли Земляники писали, что «эту незначительную роль он, по словам поэта, перенес в перл создания. Костюм, мимика, движения — все было обдуманно, осмыслено и исполнено с тою тонкостью, которая дается немногим. Нам, видевшим столько раз «Ревизора» и на столичных и на провинциальных сценах, не удавалось никогда видеть подобного Землянику». «Честь и слава г. Рыбакову!» Так восторженно заключал критик описание игры артиста в «Ревизоре».

Под старость, в свое последнее десятилетие, Рыбаков по праву

был одним из лучших на русской сцене воплотителей реалистических образов в классической и современной драматургии. В его репертуар с полным художественным успехом были включены и Тургенев (Рыбаков был неподражаемым Алушкиным в «Завтраке у предводителя»), и Сухово-Кобылин (Муромский в «Свадьбе Кречинского»), и А. К. Толстой (Грозный в «Смерти Иоанна Грозного»).

Об исполнении Рыбаковым этой последней роли один из рецензентов писал в 1868 году, что «г. Рыбаков был хорош Иоанном Грозным», что он «от начала до конца пребыл верен идее автора».

Видевший Рыбакова в этой же роли историк Харьковского театра Н. Черняев вспоминал через несколько лет после смерти артиста: «Смело можно сказать, что такого Иоанна, как Рыбаков, не было в России, ни в столицах, ни в провинции. В Петербурге Иоанна Грозного играли Самойлов, Васильев и Нильский; в Москве — Шумский. Все они оказались весьма посредственными Грозными и, уж конечно, были гораздо хуже Рыбакова».

Черняев передает впечатление трагической мощи, какое оставлял артист в роли Грозного, вспоминает свое глубокое потрясение в сцене с польским послом, когда Иоанн в иступлении бросается на Гарабурду, выведенный из терпения его дерзкими речами.

В конце 50-х — начале 60-х годов расширился шекспировский репертуар Рыбакова. В этом большое влияние оказали на Рыбакова, как и на многих других русских трагиков, гастрольные поездки по русским городам знаменитого негритянского трагика Айры Олдриджа, который в течение семи лет (1857 — 1860 и 1863 — 1867) с огромным успехом играл в Петербурге, Москве и на многих сценах провинции.

Своей трактовкой классических ролей Шекспира Олдридж содействовал возрождению на русской почве традиции идейно значительного, политически активного толкования образов великого драматурга, при этом Олдридж придавал своему толкованию смысл, особенно созвучный настроениям зрителей России 60-х годов XIX века.

Играя Отелло, Шейлока, он выступал как горячий защитник поработенных и униженных народов. Он рисовал своих героев жертвами национального и социального неравенства. В короле Лире он показывал незащитность человека, лишённого титулов и власти. Играя Макбета и Ричарда III, он обнажал корни деспотизма и творил суд над тиранами. Подобная трактовка Олдриджем ролей шекспировского репертуара не могла остаться незамеченной и непонятой значительной частью русских зрителей.

Владимир Николаевич Давыдов уже на склоне лет в своих воспоминаниях пишет о впечатлении, которое на него, еще юношу, произвели гастроли Олдриджа в Тамбове в 1864 году: «Как гениаль-

ный скрипач он мог брать сразу какой-угодно сложный пассаж. Мно это открыло глаза на многое в искусстве актера, и уже позже, когда я сам стал актером, пример черного трагика был исходным пунктом в моей работе, в моей школе. Я понял, что все в искусстве актера должно быть строго и точно разработано. Это альфа и омега азбуки сценического искусства».

Н. Х. Рыбаков непосредственно после встречи с Олдриджем включает в свой репертуар, помимо иггранных им прежде Гамлета и Отелло — Макбета, короля Лира, Шейлока, Ричарда III. Он толкует эти роли хотя и самостоятельно, но в той же тональности, в какой играл их Олдридж.

Из приведенных рецензий и описаний игры Рыбакова возникает большой художник, артист, чуждый холодного, бесстрастного лицедействия, свойственного, например, таким крупным его современникам, какими были знаменитый «протей» петербургской сцены В. В. Самойлов или сооперник Рыбакова — известный провинциальный трагик Н. К. Милославский.

При всем многообразии репертуара Рыбакова ему больше всего удавались те роли, в которых он мог выступить в защиту попираемых и угнетенных.

Рыбаков был одинаково убедителен и тогда, когда он создавал сатирические, разоблачающие образы Брускова и Земляники и когда с глубоким сочувствием передавал страдания людей из народа, подобных пушкинскому мельнику и станционному зрителю, и тогда, когда он искренно и взволнованно произносил горячие монологи странствующего актера Геннадия Несчастливцева.

Рыбаков был человеком большой души и высокой идеи, озаривших его творчество и составлявших главный источник его силы. Замечательным свойством артиста было и то, что эти его основные качества имели твердую опору в прочном и уверенном мастерстве.

Отделка роли, тонкость нюансировки — эти особенности, как будто бы неожиданные в «бродячем» актере, были присущи Рыбакову еще в молодые годы и окончательно укрепились в нем в годы его творческой зрелости.

Необычной для того времени, и для провинциального актера в особенности, была добросовестность Рыбакова в изучении текста поручаемой ему роли. Интересно, что когда в 1889 году в Вильно молодой провинциальный актер Павел Орленев попытался во время одного из спектаклей сыграть свою роль без суфлера, то режиссер и все его товарищи-актеры восприняли это почти как подвиг. «В старые времена это казалось каким-то чудом», — говорил Орленев.

Между тем за несколько десятилетий до него Рыбаков во всех своих лучших ролях уже поражал партнеров по сцене, зрителей и

критику безупречным владением авторским текстом. О внимательном, вдумчивом отношении актера к поручаемым ему ролям говорят рецензии с разбором его исполнения образов Островского и других русских драматургов, воспоминания знакомых и сослуживцев. Чтобы убедиться в этом, стоит только сопоставить между собой несколько таких отзывов.

Когда в 1868 году Рыбаков приехал на гастроли в Киев, в местной газете появилась статья, автор которой призывал киевлян «внимательно поглядеть на исполнение артиста... у которого не только большой талант, но и большое уважение к этому таланту. Еще с большим правом посоветовал бы я,— пишет рецензент,— то же самое нашим молодым актерам: они могут многому поучиться у ветерана сцены».

И по поводу исполнения Рыбаковым роли Брускова в «Тяжелых днях» тот же рецензент добавляет:

«Необыкновенная простота, естественность и благородство манеры, полное отсутствие всякой погони за смехотворными эффектами, необычайная, до мельчайших подробностей отделка роли — все это такие качества, которые невольно производят сильное впечатление. Мы так привыкли к провинциальной распущенности и небрежности даже самых талантливых наших артистов, к их «гениальному незнанию ролей» и «эффектным вольностям» в искусстве, что строгая, трезвая манера старого художника даже испугала и озадачила многих».

После премьеры «Ревизора» на сцене Народного театра в 1872 году драматург Аверкиев назвал Рыбакова «актером, не забывающим до мелочей оттенить изображаемое им лицо», и считал, что роль Земляники, которую исполнял Рыбаков, «была самую строго обдуманною и целостною во всем «Ревизоре».

Другой московский рецензент писал по поводу того же спектакля, что «игру артиста описать невозможно, она была вся соткана из мелочей, но эти мелочи составляют целое и окончательное; то комическое глубокомыслие, то едва заметное внутреннее движение делали из Земляники личность типичную и забавную по глубине комизма».

Из воспоминаний можно сослаться на «Рассказ о прошлом» В. Н. Давыдова, в котором тот говорит о замечательной «отделке ролей» при «простоте приемов» как об одной из наиболее характерных черт, присущих Рыбакову. Можно привести также и утверждение С. Г. Ярона, хорошо знавшего Рыбакова, о том, что в игре артиста «всегда поражала детальная отделка роли».

О высоком артистическом мастерстве Рыбакова говорят и дошедшие до нас его фотографические изображения в различных ролях.

Какой продуманностью отличается весь внешний облик артиста — начиная от костюма и грима и кончая позой и выражением лица — в Несчастливцеве, в Любиме Горцове, в Простакове, в Яичнице, в Землянике! Здесь что ни фотография — то новый человеческий образ, новый характер.

В каком разительном противоречии находится все это с обычным представлением о Рыбакове как о воплощении сленного, стихийного темперамента, как о типичнейшем представителе пресловутого «нутра», актере, не умеющем и не желающем прислушиваться к доводам рассудка!

«Николая Хрисанфовича называют актером «нутра», — рассказывал его сын Константин Николаевич Рыбаков. — У нас, актеров, это выражение считалось, по крайней мере прежде, далеко не лестным. Актер «нутра» — это значит, что к роли он никогда не готовится, а играет на нервах. Про отца этого нельзя было сказать ни в каком случае. Он был учеником Мочалова и работал над ролями, внося реализм даже в мелодраматические роли.

Со стороны могло показаться, что он играет «внутром». Но это только потому, что у него была благодаря колоссальному диапазону необычайная задушевность голоса и что он мог всегда, в любой момент захватить публику. По своей школе он не выделялся ничем и всегда чрезвычайно просто говорил на сцене. У отца было просто колоссальное дарование. Он играл самые разнообразнейшие роли, начиная с Гамлета и кончая Земляничкой. Актер «нутра» не был бы в состоянии овладеть таким репертуаром».

К. Н. Рыбаков, прямо и решительно отвергая «стихийность» дарования отца, приводит и причину, объясняющую появление столь несправедливого суждения о нем.

Эта причина, введшая в заблуждение многих из писавших о Рыбакове, была заключена, по мнению его сына, в яркой эмоциональности его игры.

Подобно тому как это было с Мочаловым, сценический темперамент художника нередко скрывал от глаз зрителей сложный и глубокий внутренний процесс подготовки роли.

Рыбаков был актером-реалистом, а подлинный реализм, требующий познания жизни и обобщения, типизации жизненных явлений, не может основываться на случайных нервных вспышках и интуитивных прозрениях.

Рыбакову в большой степени было свойственно то высокое вдохновение, чуждое мимолетному восторгу, о котором писал Пушкин и которое поэт определял как «расположение души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных».



Без этого обязательного качества большого художника Рыбаков не стал бы тем, чем он был,— одним из самых ярких русских актеров-демократов, несших реалистические, глубоко человеческие, подлинно национально-русские сценические образы в далекие и глухие углы старой русской провинции.

Эти качества Рыбакова-актера сумел оценить в нем великий Островский, сумел разгадать их и ученик Рыбакова, замечательный русский актер В. Н. Давыдов, посвятивший Н. Х. Рыбакову в книге «Рассказ о прошлом» следующие проникновенные строки: «Высокий плечистый старик, он до последних дней сохранил выразительный блеск глаз и душевный густой баритон. Исполнение его отличалось глубокою человечностью по существу, а со стороны внешней передачи — поразительною простотою приемов и отделкою ролей. Это не был трагик-орала. Рыбаков играл по-человечески, задушевно, ни на минуту не становясь на ходули.

Вся его заслуга, по моему суждению, заключается именно в том, что он был переходной ступенью к нашей эпохе, требовавшей точности, человечности, искренности и простоты».

В одной из статей Анатолия Васильевича Луначарского дана очень яркая и очень верная характеристика актерского мира старой русской театральной провинции, с его исковерканным бытом, порожденным беспощадной эксплуатацией актерского труда, с его уродливыми формами социальных, правовых, а отсюда и морально-этических отношений:

«Актерский мир состоит из людей с перенапряженными нервами, живущих ежевечерне и еженощно утомлением, вспышками вдохновения и отчаяния перед лицом упадка сил, чередовкой успехов и провалов: ведь, если нет такого величайшего актера, у которого не было бы провалов, то нет, пожалуй, и такой маленькой театральной букашки, которая не знала бы своих успехов или не придумывала себе...

Актер, за малым исключением, ведет кочевую жизнь, от сезона к сезону или по гастролям. Его быт не устроен. У него нет корня, часто не только корня оседлости, но и корня сколько-нибудь устойчивой нравственности. Но, конечно, верно и то, что среди актеров попадаются очаровательные типы тех бессребреников и кутил, у которых за их авантюрно внешностью кроется настоящая, до святости доходящая, преданность своему искусству, своеобразная отчужденность от расчетливости, меркантилизма буржуазии, какой-то даже наивный героизм по отношению к житейским мелочам. Таких актеров, если они притом еще талантливы, обычно окружают большой и живой симпатией как их собственные соратники, так и публика, вплоть до самых крупных представителей этой публики».

Пожалуй, ни к кому из провинциальных актеров середины XIX века эта характеристика актеров «бессребреников», преданных «до святости» своему искусству и высоко ценимых товарищами и публикой, не подходит с такой полнотой и наглядностью, как к Н. Х. Рыбакову.

Замечательные свойства характера Н. Х. Рыбакова нашли свое отражение в бытовавших по всей театральной провинции устных преданиях и легендах. Много сочувственных страниц, посвященных Рыбакову, находим мы в дошедших до нас воспоминаниях его товарищей-актеров. Некоторые из писателей — современников Рыбакова — вывели его в качестве действующего лица своих произведений, посвященных быту и людям старого провинциального театра.

Самым значительным, самым близким отражением в литературе жизненного и творческого облика артиста явился герой комедии «Лес» — артист-трагик Геннадий Несчастливцев. Несмотря на то,

что Островский не стремился здесь к точному портретированию и создавал образ типизирующий и обобщающий, ему удалось воспроизвести с подкупающей художественной правдой внутренний мир Рыбакова — значительного и яркого человека и художника, воплотившего в себе многие из лучших черт, характерных и типичных для всей передовой части провинциального актерства.

Рыбакову же, человеку и артисту, были посвящены и другие, менее известные литературные образы: трагик Хрисанф Николаевич в рассказе Горбунова «Белая зала» и актер Барыков в романе Соколова «Театральные болота».

Любопытно, что Соколов, сам бывший актер и режиссер провинциальных театров, необычайно мрачными красками рисующий жизнь театров и их деятелей в столице и провинции, сделал единственное исключение для Барыкова, противопоставив его омерзительному произволу антрепренеров и разложившейся, prostituteирующей свое искусство актерской богеме.

Создавая свой сенсационно-разоблачительный роман и стремясь в нем в равной мере развенчать и заклеить все дурное и хорошее, что было в старом русском театре, Соколов убоился все же поднять «карающую» руку на одну из самых светлых фигур этого старого театра — на Н. Х. Рыбакова, хотя и крайне обеднил его подлинную сущность, представив артиста неким театральным Любимом Торцовым — беспшибашным и пьяным «благородным бродягой».

Гораздо полнее и точнее отразился облик Рыбакова в рассказе другого артиста-писателя, И. Ф. Горбунова, «Белая зала». В этом рассказе Горбунов рисует типичную сцену, происходившую в 40—50-х годах прошлого столетия, накануне нового театрального сезона, в так называемой «Белой зале» трактира Барсова в Москве, куда съезжались со всей России актеры и антрепренеры для заключения новых сделок и ангажементов.

Среди присутствующих центральное место принадлежит известному трагику Хрисанфу (или Хрисанфу Николаевичу, как его в другом месте называет автор). За этим несложным псевдонимом легко угадывается у Горбунова реальная фигура известнейшего из актеров провинции. Разговаривая с театральными дельцами, Хрисанф держится с достоинством и независимо.

«— Ну, какой ты антрепренер? Что ты понимаешь в великом искусстве? Ты буфет в театре держал! Ну, что ты смыслишь?» — обрывает он одного из театральных хозяйчиков.

Разговор заходит о недавно появившейся пьесе Островского «Бедность не порок».

Кто-то из антрепренеров авторитетно заявляет, что в пьесе нет ничего особенного и что он ее «тоже в Рыбинске ставил».

— Это у себя в курятнике-то? — возражает Хрисанф. — Ты бы молчал лучше. Знаешь ли ты, что играть Любима Торцова...

— Что же в нем особенного? Обыкновенный пьяный купец...

— Особенного? Я с тобой и разговаривать не хочу! Да я с тебя полтора ста Ляпуновых за этого пьяного купца не возьму. Ведь эту роль должен трагик играть, а он мальчишку нарядил. Понятие!

— У нас на юге эту пьесу не поймут, у нас в ходу больше помпезные пьесы, — вступает в разговор содержатель сева­сто­польского театра.

— Подите вы с своим югом-то! У вас Гамлет, в сцене с матерью, с папироской вышел!

— Ну что ж, пьяный был, — заступается содержатель.

— А король Лир звезды с кавалерийского вальтрапа на себя надевает — тоже пьяный! Играйте вы там своих «Багдадских пирожников», «Принцев с хохлом, горбом и бельмом»... Настоящий репертуар вам не по плечу. Да и многих он враспloh застал. Теперь не то! Теперь «Шире дорогу — Любим Торцов идет!»

И, развертывая дальше диалог между Хрисанфом и антрепренерами, Хрисанфом и молодым актером, автор очерка, близко знавший Рыбакова, хорошо передает основное в характере артиста — его безграничную преданность своему искусству, его тягу к новым пьесам и новым героям, его независимость и принципиальность, его веру в идущее на смену актерское поколение.

В подобной оценке Рыбакова как личности Горбунов был не одинок: характеристика артиста, намеченная на страницах «Белой залы», подтверждается буквально всеми, кто встречал Рыбакова и кто писал о нем.

«Отношение Николая Хрисанфовича к сцене было весьма серьезное: сцена для него была «святая святых», писал Ярон, а другой мемуарист — в молодости актер, а затем драматург — А. А. Плещеев, вспоминая свои встречи с Рыбаковым, приводит незначительный, но характерный эпизод, хорошо иллюстрирующий это утверждение Ярона.

Плещеев рассказывает, что, когда в одной из пьес Рыбаков по ходу действия перекрестился на сцене, к нему в антракте подошел кто-то из «власть имущих» со строгим замечанием: «Николай Хрисанфович, на сцене нельзя креститься». «А в кабаке можно? Я театр ставлю выше!» — резко оборвал его старый артист.

Высоко ценя честь и славу русского искусства, Рыбаков неизменно требовал уважения и к себе лично, как к представителю этого искусства. Достаточно вспомнить полный достоинства ответ Рыбакова

директору императорских театров А. М. Геденову, когда тот позволил себе после дебюта артиста обратиться к нему на «ты».

Можно привести и еще случай, свидетельствующий о присущем Рыбакову чувству независимости и собственного достоинства. Какой-то губернатор обратился с замечанием к Рыбакову, что тот получает в год жалованья больше губернаторского\*. «Совершенно верно, ваше превосходительство, — ответил ему артист. — Но ведь в каждой губернии есть губернатор, а Рыбаков один во всей России».

О бесчисленных столкновениях Рыбакова с антрепренерами театров, в которых он служил, говорят почти все сохранившиеся о нем воспоминания. Рыбаков смело вступался за свои права и права товарищей-актеров.

Но если со всеми, кто унижал русский театр и его лично как представителя этого театра, артист был резок и непреклонен, то совершенно иным был он по отношению к тем, с кем ему приходилось делить радости и тяготы своей нелегкой, скитальческой жизни.

«Лицо у него было сердитое, — вспоминает Плещеев, в молодости игравший вместе со стариком Рыбаковым в так называемом Павловском театре близ Петербурга, — но едва заговорит, бывало, Рыбаков, и это впечатление совершенно сглаживалось; в нем было что-то скорее располагающее, добродушное даже и тогда, когда он возвышал свой густой голос. Себя он не отличал от других товарищей-актеров и никогда не пытался быть величественным, гордым, как гастролировавший там же В. В. Самойлов. С Рыбаковым репетировали без церемоний, шутили, болтали о текущих делах, а при Самойлове все умолкали».

«Как человек, это был такой добряк, такой незлобивый, что в жизни таких поискать! Он старался поддержать каждого словом, несчастье и горе каждого встречали в нем теплое сочувствие и нередко он отдавал последнее нуждающимся, оставаясь без всяких средств, и только талант спасал и выручал его от крайности и бедствий!» — писал о Рыбакове В. Н. Давыдов.

То же самое рассказывали и другие товарищи Рыбакова по сцене — артисты Л. Самсонов, А. Шуберт, Н. Вильде, Е. Литовская, А. Алексеев.

Характеристика, данная Рыбакову Алексеевым (знавшим артиста еще в его сравнительно молодые годы), в этом смысле особенно типична:

\* Губернатор явно «скромничал», так как губернаторский доход в царской России лишь в малой мере определялся его «жалованьем». Что же касается Рыбакова, то он, хотя и получал высшие для провинциального актера оклады, все же едва обеспечивал себя и семью самым необходимым и часто нуждался в деньгах.

«Во время своего совместного пребывания с покойным Николаем Хрисанфовичем на одной сцене, а впоследствии даже породдившись,— писал в своих «Воспоминаниях» Алексеев,— мне пришлось довольно близко узнать его и полюбить всем сердцем. Это был добрый, честный, прямой и бесхитростный человек, неоценимый товарищ и примерный семьянин... По своей бесконечной доброте он в состоянии был снять с себя единственный сюртучишко и отдать его неимущему...

— Ты, кажется, беден? — говорил он в таких случаях...

— Нельзя сказать, Николай Хрисанфович, чтобы очень богат был...

— Я, брат, отлично все вижу и понимаю, потому что сам я живу без недостатков и претерпеваю лишения... Деньги тебе нужны, говори мне прямо?

— Помилуйте, Николай Хрисанфович, кому по нынешним временам деньги не нужны? Все мы нуждаемся...

— За откровенность спасибо!

— Какая же это откровенность,— изумляется собеседник,— это просто так, к слову сказано...

— Все равно спасибо! И за эту самую откровенность я тебе денег дам. Говори, сколько тебе надо?

— Что вы, что вы, Николай Хрисанфович, зачем я у вас деньги стану брать! Не надо, не надо...

— Нишкни! Бери, если тебе, дураку, дают...

— Да с какой же это стати?!

— Молчать! Получай и прячь.

Таким образом,— добавляет Алексеев,— и другому и третьему навяжет он свои заработанные крохи и останется сам в конце концов без гроша».

Во многих случаях, когда Рыбаков хотел помочь кому-нибудь из своих бывших или настоящих сослуживцев и не был в состоянии сам сделать это, он обращался за помощью к лучшему другу провинциальных актеров — А. Н. Островскому.

Так было, например, с трагиком Бабаниным, бывшим «соперником» Рыбакова в труппе Млотковского. Достигши глубокой старости, Бабанин со слепой женой коротал свою жизнь впроголодь. Рыбаков обратился к А. Н. Островскому, и тот послал Бабанину посильную помощь из сумм Общества драматических писателей, а затем помог устроиться в Харьковский приют для престарелых.

Велико было влияние Рыбакова на его современников, но, пожалуй, никто так не увлекался им и не любил его, как искренняя и горячая молодежь, мечтавшая о театральных подмостках или делавшая на их свои первые и еще робкие шаги.

«Молодежь его обожала», — говорил о Рыбакове В. Н. Давыдов. Многие из больших мастеров русской сцены считали себя творчески-ми «крестниками» Рыбакова.

Но Рыбаков увлекал молодежь не только своим творчеством, своими сценическими созданиями. К старому артисту молодежь привлекало прежде всего его собственное неподдельное увлечение всем молодым, горячим, талантливым.

Рыбаков ни в какой мере не был «педагогом» и «воспитателем» в прямом смысле этих слов. Для этого у него не хватало ни теоретических познаний, ни умения логически анализировать то, чего ему удавалось достигнуть на практике.

Но его пример, его доброжелательное отношение к начинающим актерам, наконец, его умение найти и поддержать достойнейших — все это принесло ему горячую любовь молодежи.

Актер Самсонов, неоднократно пользовавшийся в молодости советами и поддержкой Н. Х. Рыбакова, приводит в своей книге «Пережитое» случай, чрезвычайно характерный для этого большого души человека. Самсонов рассказывает, как однажды в Харькове Рыбаков пригласил к себе совсем молодого актера на выходах — М. Т. Иванова-Козельского.

«Ты что же это тут, — говорит Рыбаков Козельскому, — получаешь черт знает что. У тебя ведь талант. Поезжай... Ну, поезжай в Москву, в клубы, сыграй. Там народный театр\*. Я тебе дам письма».

Иванов-Козельский послушался совета Рыбакова. И очень скоро имя его стало греметь по всей провинции как имя одного из лучших трагиков того времени. «И таких десятки случаев», — говорит Самсонов.

Народный артист СССР Л. М. Леонидов, вспоминая дни молодости и работы в театрах провинции, упоминает своего сослуживца по театру Соловцова в Киеве старого актера Леонида Августовича Борисова, с гордостью рассказывавшего о том, как когда-то «его заметил Николай Хрисанфович Рыбаков и благословил на сцену».

«Рыбаков был чужд зависти, благосклонно и добродушно относился к начинающим актерам, охотно уступал им первые роли и сам переходил на вторые», — писал артист Малого театра Н. Вильде.

Артистка Е. Литовская, дебютировавшая в 60-х годах в Харькове в роли Офелии в «Гамлете», рассказывает, как ободрил ее и помог ей в этот ответственный день Рыбаков, игравший принца Гамлета. Точно так же поддержал он во время дебюта Плещеева и многих, многих других.

\* Рыбаков имел в виду Общедоступный театр Урусова и Танеева, существовавший в Москве с 1873 по 1877 год.

«Благословляю судьбу... за то, что она близко свела меня с таким редким человеком и с таким выдающимся художником, каким был Н. Х. Рыбаков,— рассказывает о своей молодости один из любимых учеников старого артиста В. Н. Давыдов.— Он полюбил меня, и мое отношение к делу, и мое веселое дарование. Нравилось ему то, что я никогда не возражал против его указаний и советов, которыми он меня баловал во время репетиций. Да и можно ли было его не слушаться! Я считал за счастье, когда, бывало, Рыбаков, сидя в кресле около суфлерской будки, по-отечески делал свои замечания. Это были советы громадного мастера, человека колоссального опыта. Каждое слово его я ценил на вес золота».

В своем «Рассказе о прошлом» В. Н. Давыдов не сообщает, в чем же состояли эти «советы громадного мастера» начинающему актеру. Однако, сам превосходный театральный педагог, Давыдов нередко приводил ученикам пожелания и указания, высказанные ему некогда, на заре его театральной деятельности, Н. Х. Рыбаковым.

В одном из спектаклей В. Н. Давыдов должен был играть небольшую роль лакея, докладывающего своему барину (которого исполнял Рыбаков) о приходе очередного визитера.

На репетиции Давыдов вышел на сцену и с места в карьер выложил принадлежавшие ему по роли несколько фраз. Однако сразу уйти со сцены ему не удалось: он был остановлен неожиданным для себя вопросом Рыбакова:

— Кто ты?

— Как кто? Владимир Давыдов,— отвечал смущенный молодой артист.

— А ты пойд и подумай,— ответил ему Николай Хрисанфович.

И когда Давыдов вновь вышел, чтобы повторить свой эпизод, он уже знал, что на те несколько минут, которые он был занят в спектакле, он переставал быть Владимиром Давыдовым, а становился лакеем таким-то у такого-то барина.

Но и это не удовлетворило до конца Рыбакова. Последовал вопрос: «Давно ли ты у меня служишь?» Пришлось все повторить сначала. Но и на сей раз Давыдов был остановлен очередным вопросом: «Как ты ко мне относишься?» и после нового повторения — еще одним: «Как ты относишься к тому, о ком докладываешь?»

И только тогда, когда Давыдов действительно сумел внутренне, для самого себя, ответить на все эти вопросы, довольный старик разрешил ему спокойно уйти с репетиции.

О том, чему учил и как напутствовал Рыбаков начинающих молодых актеров, можно судить и по упоминавшемуся уже очерку И. Ф. Горбунова «Белая зала».

Вот еще один отрывок из этого достоверного рассказа:



«— Вот ты первогодочек, только что начинаешь нашу скитальческую жизнь (обращается к молодому актеру Хрисанф, указывая на толпящихся здесь же, в Белой зале, антрепренеров.— А. К.), вот ты и знай, у кого ты будешь в лапах. Они все здесь, эти губители талантов. Закались заранее. Да что у тебя: страсть к театру или тебе жрать нечего?»

— Страсть, Хрисанф Николаевич.

— Ну, коли страсть — выдержишь; а если из-за куска хлеба идешь — пропадешь... Ступай, милушка, ступай на этот узкий путь,— говорил он только что начинающему актеру, поглаживая его по голове.

— Хочу попробовать, Хрисанф Николаевич.

— Это, брат, дело не пробуют. В это дело как окунешься, так на дно и пойдешь, уж не выплывешь. Тебе который год?

— Десятилетний.

— В тебе искорка есть, я это по глазам твоим вижу. Ты знаешь ли, где скрывается талант у актера?

— Где-сс?

— В глазах! Посмотри когда-нибудь в глаза Садовскому!.. А у Мочалова какие глаза-то были!.. Ну, бог тебя благословит! Может, посчастливится, будешь знаменитым актером, меня уж, разумеется, тогда не будет, так ты меня тогда вспомни. Да, путь наш узкий, милый человек, и много на нем погибло хороших людей. Мельпомена-то бывает бессердечна: выведет тебя па сцену в плаще Гамлета, а сведет с нее четвертым казаком в «Скопине-Шуйском». Старайся! Не свернись! Вышел на сцену — забудь весь мир. Ты служишь великому искусству! Если ты понимаешь, что я тебе говорю, то продерешься через эту чупыгу, через наш узкий путь,— окончил Хрисанф, восторженно хлопнув ладонью по столу».

Театральная молодежь внимательно и чутко прислушивалась к замечаниям, какие делал Рыбаков, ибо знала, что все эти замечания исходят из уст человека доброжелательного, наделенного громадным театральным опытом и талантом.

Рыбаков безошибочно чувствовал, когда нужно пожуричь молодого актера, вовремя предостеречь его, указать ему на опшибки и когда нужно его поддержать, одобрить, помочь.

Ярон сообщает, что Рыбаков всегда возмущался, «если замечал в ком-либо из молодых артистов небрежное отношение к делу».

«Несмотря на свой добродушный характер,— вспоминает Константин Николаевич Рыбаков,— отец был педантичный и требовательный и до тех пор не позволял мне сыграть даже маленькую роль, пока я не выучился, как говорится, ходить по сцене, справляться с руками и ногами, владеть собой».

И в то же время, несмотря на всю свою требовательность и внешнюю суровость, Рыбаков всегда горячо протестовал против грубого помыкательства и затирания молодых актеров, столь характерного для старого театра.

«Присутствуя нередко на репетициях труппы Политехнического театра,— вспоминал один из газетных рецензентов,— помню, как часто в ответ на несколько строгих режиссерских замечаний по адресу какого-нибудь маленького актера из глубины сцены раздавался густой и могучий голос Рыбакова: «Да оставьте вы его... не хуже он других! Запугаете только парня!»

Во время спектакля «Ревизор» в Народном театре публика стала вызывать молодого актера, экспромтом сыгравшего Хлестакова. Завистливый К. Ф. Берг, игравший городничего, загородил ему дорогу на выход. Случившееся вслед за этим описал тот же рецензент: «Одна минута, и Берг был сильным движением столкнут с завоеванного им поста в проходе кулис, а вконец сконфуженный Хлестаков почти вылетел на сцену, направленный метким толчком Рыбакова. Берг пробовал обидеться, но Рыбаков не обратил на это внимания: «Антракт ведь теперь, батюшка, Константин Федорович!.. Теперь ведь вы не городничий».

Об огромном внимании, которое проявлял Рыбаков к молодежи, говорит и эпизод, сообщенный в воспоминаниях Давыдова: «Я нередко выступал в дивертисменте с небольшой сценой «В театрах и на свадьбе», в которой по ходу рассказа мне приходилось декламировать, танцевать, петь, играть на скрипке. Публика очень любила эту сценку. Рыбакову она тоже нравилась, и он каждый раз спускался в партер, садился на свободное место и хлопал мне из кресел.

Однажды Грубин\* заметил Рыбакову:

— Как вам, Николай Хрисанфович, не надоест слушать эту безделку?!

— Дружище! — сказал Рыбаков.— В искусстве не существует безделок: в руках артиста они всегда обращаются в дело, а дело мастера боится! Я с удовольствием люблюсь на Давыдова. Посмотришь — словно бокал шампанского выпьешь!

Меня Рыбаков не видел, я стоял в темной кулисе и слышал эту похвалу, которую до сих пор помню и как святыню храню в своем сердце!

Мое сердце волнуется сейчас при одном воспоминании о похвале самого Рыбакова, а тогда оно билось так сильно, что мне всю кровь бросило к вискам и я в течение нескольких минут при всем своем

\* А. П. Грубин — режиссер Тамбовского театра, позднее артист Малого театра и антрепренер.

сценическом хладнокровии не мог оправиться от нахлынувших на меня бурным потоком приятных переживаний!»

Тяга к молодежи, стремление при жизни найти себе преемников и продолжателей были присущи почти всем выдающимся русским сценическим деятелям. Эта замечательная особенность русских актеров была в высшей степени характерна и для Н. Х. Рыбакова.

Последними словами артиста, сказанными им перед кончиной, были: «Пора! Птенцы уже подросли и сами летают!»

Птенцами Рыбаков называл молодежь, которую он так любил и которая платила ему горячей преданностью и огромным уважением.

Среди многочисленных анекдотов, окружавших имя артиста, наиболее распространенными были, пожалуй, те, в которых говорилось о его якобы феноменальном невежестве.

Каких только рассказов и небылиц ни сообщали о нем.

«Рассказывают, например,— припоминает в своих воспоминаниях один из знакомых Рыбакова, драматург В. А. Тихонов,— что в каком-то захолустье артист, которому была поручена роль венецианского мавра, явился на сцену в мундире министерства внутренних дел на том основании, что Отелло — губернатор. И подобную, почти невероятную выходку,— с возмущением добавляет автор воспоминаний,— приписывали тоже Рыбакову, человеку если не вполне просвещенному, то, во всяком случае, настолько уже образованному и видевшему свет, что сделать подобной грубой бессмыслицы он не мог».

О том же пишет и В. Н. Давыдов. «Сблизившись с Рыбаковым,— рассказывает артист,— я увидел в нем совершенно другого человека, чем он представлялся многим на основании слухов, сплетен и сотен анекдотов, которые про него любили рассказывать. И ведь чего только не приписывали Рыбакову: и вранье, и хвастовство, и грубость, и невежество!..

Помню, ходил такой анекдот. Играя роль Швейцера в «Разбойниках» Шиллера, Рыбаков будто бы одевался чрезвычайно странно, а именно: ботфорты Кромвеля, шляпу итальянца, колет француза, шаровары турка и мантию испанца.

— Что вы делаете? Разве это мыслимо?

— А отчего же! — будто бы преспокойно ответил Рыбаков.— Швейцер-то кто? Разбойник! Ну а как же разбойнику одеваться? С испанца стянул мантию — надел, с турка стащил штаны — надел, с француза стянул колет — надел. Вот тебе и костюм разбойника!..

Рыбаков был популярнейшей фигурой в актерском мире,— добавляет Давыдов,— и к нему приклеивали все, что кому вздумается».

Но сказать, что причина всех этих анекдотов коренится просто в популярности артиста,— значит сказать еще только половину истины.

Истина заключалась в той борьбе с Рыбаковым как с актером-демократом, которая велась на протяжении всей его полувековой сценической деятельности реакционерами и ретроградами от искусства.

Реакционеры и ретрограды, которые с пеной у рта выступали против каждого нового произведения Островского, помешавшие одному из лучших провинциальных актеров России — Рыбакову — попасть на сцену императорских театров, всячески пытались скомпрометировать его в глазах «просвещенной» публики постоянными укорами в невежестве и непонимании того, что он играет. Реакционеры и ретрограды не проявили при этом большой оригинальности в избрании метода борьбы с неугодным им актером. Способ дискредитации в глазах общественного мнения в качестве невежды и пьяницы был уже применен ими задолго до Рыбакова по отношению к другому крупнейшему театральному выразителю демократических тенденций — к П. С. Мочалову, громогласно объявленному театральными гурманами и снобами «безумным другом Шекспира».

Надо сознаться, что и сам Рыбаков сыграл немалую роль в распространении о себе подобных слухов. Как и для многих других актеров старой русской провинции, для него была характерна известная бравада «свободой и стихийностью» своего таланта. Рыбаков любил, подобно Несчастливцеву в V акте «Леса», дразнить и выводить из себя окружающих его гурмыжских, милоновых и бодаевых. Эта бравада, введшая в обман не только многих из его случайных знакомых, но даже и некоторых товарищей по сцене, шла у Рыбакова от своеобразно понятого им чувства гордости и самосохранения. Ненавидя и презирая аристократических «покровителей искусства», Рыбаков нередко нарочно дразнил их всевозможными небылицами о своем якобы нежелании и неумении размышлять над ролями, о стихийности своего дарования, противопоставляя свое «плебейское невежество» изощренному бездушию салонного искусства. Подобно тому, как когда-то Мочалов замыкался в себе, «дичился», встречая своих «знатных покровителей», и лишь с интимными друзьями, такими же «плебеями», как он сам, раскрывал всю глубину своих сценических замыслов или мыслей об искусстве, точно так же и ученик Мочалова Н. Х. Рыбаков отмалчивался, отпущивался или резко обрывал тех, кто приходил к нему с непрошенными поучениями и советами.

Да, Рыбаков, действительно, не получил широкого образования, он ни в какой мере не был «теоретиком» своего искусства, до очень

многого он доходил интуитивно и ощутно, но истинные друзья артиста, такие, как Давыдов, Самсонов, знали настоящий характер Рыбакова, ценили в нем пытливость и любознательность его ума.

Самсонов в книге «Пережитое», рисуя мытарства и скитания, испытанные им вместе со стариком Рыбаковым, рассказывает о любознательности артиста, о том, как в пути он брал у него читать книги, как сожалел о том, что в молодости не имел возможности учиться.

Сын Рыбакова вспоминает, как добивался отец, чтобы Константин Николаевич пошел на сцену лишь после получения общего образования.

Эти замечательные свойства натуры Рыбакова — его талант, живой и наблюдательный природный ум, пытливость души — помогли артисту, не наделенному широким образованием и обширными книжными познаниями, стать тем не менее подлинно передовым художником, выразителем демократических и гуманистических идей его времени.

Одним из любопытнейших свойств Рыбакова был удивительный талант рассказчика-импровизатора.

Этот талант не нашел своего непосредственного применения в сценической или концертной деятельности артиста. И тем не менее, пытаясь воссоздать творческий и жизненный облик Рыбакова, нельзя обойти молчанием эту сторону его богатой и многообразной натуры.

Игравший с Рыбаковым артист И. И. Лавров в книге воспоминаний пишет о том, что, когда Рыбаков начинал рассказывать что-либо из своих невероятных «похождений», один из его товарищей-актеров немедленно бежал за кулисы и начинал бить в театральные колокол, извещая тем, что «вранье» началось!

Нет буквально ни одной заметки о Рыбакове, ни одного воспоминания о нем, где бы авторы их иногда с иронией, иногда с удивлением, а иногда и с восхищением не отмечали «непостижимую», гиперболическую его страсть к сочинению невероятных, фантастических историй.

Но, удивительное дело, кто бы ни писал об этой изумлявшей всех черте Рыбакова, какие бы из его рассказов ни приводились мемуаристами, мы буквально нигде не найдем ни одного упоминания о столь обычном для провинциальной «актерской братии» хвастовстве своими сценическими триумфами.

Во всем, что касалось театра и своих творческих побед, Рыбаков был скромен и немногословен.

Его рассказы являлись вдохновенными импровизациями, полными лукавого и непритязательного веселья.

Приведем некоторые из рассказов артиста, записанные слушателями с его слов.

«Вы знаете те часы, которые мне поднесла публика... ведь не часы, а чудеса!!! — обратился однажды Рыбаков к приятелям-актерам. — Был я на охоте и потерял их... Искал, искал, нет их... Ну, делать нечего. Потужил, потужил, — плюнул. Знаю я публику, публика знает меня. Будут новые. Было это в Тамбове. Уехал я из Тамбова, три года ездил, странствовал. Приезжаю снова... Опять выдался свободный день — я на охоту... Иду, вдруг собака делает стойку. Остановился я и кричу ей: пиль! Она стоит, я еще раз: пиль! Она стоит. Подхожу. Слышу — в травке тик-так. Думаю — стрекоза, наклонился и вскрикнул от восторга: мои часы!.. И, вообразите, в четыре года отстали всего на пять минут!»

Другой раз Рыбаков рассказывал о постройке какого-то столичного театра: «Прежде чем строить его начали, стали в землю вбивать сваи. Только войдут они, сваи-то, в землю и сравняются с площадью, сейчас же еще другую партию свай поверх тех бьют. И таким образом штук 40 их друг на дружку в земле стоймя ставили. Это всегда так фундаментальные здания строят... Вот это вбивали, вбивали, и вдруг из Парижа заказное письмо приходит. Пишут в нем: «Остановитесь: ваши сваи на самом красивом месте в Летнем саду сажени на четыре высунулись и производят безобразия». Ну, наши, конечно, остановились, потому что войны не хотели, и послали туда телеграмму: «Облепите сваю в статую, и пусть она у вас будет на манер памятника, а подпиливать ее не смейте, потому что она казенная». — «А вы, Николай Хрисанфович, не видели этой высунувшейся сваи?» — «Да как же, братец, не видел? Разумеется, видел, но только тогда, когда еще ее в русской земле вбивали».

А вот еще один образчик устного творчества Рыбакова:

«Когда служил я в Киеве и посещал Лысую гору, познакомилась со мной одна молоденькая ведьма. Мы с ней больше по любопытству сошлись: она об актерах не имела понятия, а я их сестру не мог себе уяснить. Ну, ладно, ходим, значит, на свидания и разные разговоры разговариваем. Наш брат актер пришелся ей, значит, по самому вкусу, а мне она была без всякого удовольствия, потому что с хвостом и нечесаная. Чесанье им по ихнему закону запрещено. Ну, хорошо. Сезон театральный подходит к концу, и мне нужно было в Москву на пост ехать. А денег-то у меня в то время — ни одного франка. Прихожу я на Лысую гору, вызываю свою Углюдку (это так знакомую ведьму звали) и говорю ей: «Пешком идти в Москву не хочется, занять денег не у кого, — не можешь ли ты у своего начальства малую толику добыть и меня ими под верное обеспечение ссудить? Я тебе, говорю, свою библиотеку в залог оставлю». Она мне в

ответ пропищала: «Денег мы не признаем и при себе их не держим, но бесовскую властью обладаем, так что я могу тебя в лучшем виде на даровщину в Москву доставить». За это я выругался: «Как, говорю, ты смеешь мне предлагать на помеле ехать?» «Зачем на помеле, отвечает, на каком угодно инструменте поезжай. Вот хоть на этом бревне отправляйся». «Ну, на этом-то, пожалуй, говорю, можно, потому что оно все-таки больше солидности имеет, чем помело». Уговорились мы с ней учинить мои проводы на другой день.

На следующее утро уложился, взял чемодан под левую руку, под правую на всякий случай зонтик захватил и отправился на условленное место к бревну. Прихожу, а уж ведьма-то меня ждет с творочными ватрушками, это она мне их полтора ста штук на дорогу напекла. «Ну, говорит, садись да и улетай». Обхватил я бревно ногами, а она какие-то непонятные три слова произнесла, плюнула в мою сторону, я и взлетел. Летел, летел, летел, — наконец, глядь, за что-то левой ногой задел, оглянулся — Иван Великий. «Ну, теперь спускайся, приказываю я бревну, но только потихоньку». Оно и спустилось, да неудачно — поперек Тверского бульвара расположилось, так что земли-то я никак не мог достигнуть, пришлось на воздухе проболтаться всю ночь, пока утром меня обер-полицеймейстер из окна не увидал. Бревно-то было так велико, что через весь бульвар с крыши на крышу перекинулось, как воздушный мост. Сбежались городовые и спасательные круги стали ко мне бросать, но только никак не могли до меня докинуть. Пришлось им за пожарной лестницей сходить. Приволокли и поставили ее к бревну. Я и полез по ней, но только дошел до половины, как хват — лестница-то до земли сажени на три не достает. Что же было делать? «Растопырьте, братцы, говорю городовым, руки — я спрыгну». Ну, и спрыгнул. Повели меня к полицеймейстеру. «Что ты, говорит, за человек? И откуда, говорит, ты это бревно приволок?» Нельзя же обманывать полицию, я и признался, что по знакомству с ведьмой на нем с Лысой горы в Москву приехал. И вышел через это вопиющий скандал: меня в двадцать четыре часа из города вон выслали.

«Ну, тут вы, вероятно, проснулись?» — спросил кто-то с улыбкой.

«Дурак! Чего лезешь, коли тебя не спрашивают!» — закричал обидчиво Николай Хрисанфович.

Несмотря на то, что, по заверению слышавших его, артист не любил, когда кто-либо выражал сомнение в подлинности сообщенных им «фактов», и резко обрывал свой рассказ после первого же скептического замечания, сам гиперболический, фантастический характер его импровизаций указывал на их откровенно творческое начало, на нежелание автора серьезно выдавать их за подлинные, реальные происшествия.

Рыбаков не был единственным рассказчиком среди русских актеров. Известно, какими занимательными собеседниками и мастерами устного рассказа были замечательные сценические художники-реалисты М. С. Щепкин, П. М. и М. П. Садовские, И. Ф. Горбунов, В. Н. Андреев-Бурлак. Каждый из этих неповторимых артистов имел и свой неповторимый, только ему свойственный облик рассказчика-импровизатора. И вместе с тем при всем разнообразии их импровизаторских талантов было в них нечто общее, объединявшее всех этих глубоко своеобразных художников. Это общее заключалось в стремлении делиться с окружающими своим неиссякаемым запасом жизненных наблюдений, исчерпать до дна, пусть даже за пределами сцены, свои потенциальные творческие возможности.

То же самое и с Рыбаковым, ибо все эти забавные истории начали складываться в его фантазии именно в тот творческий период, когда артист по характеру исполняемого им репертуара, играя «страшил» (по его собственному выражению), совершенно лишен был возможности проявить в сценическом творчестве присущие ему юмор и наблюдательность.

Отдавая должное Рыбакову как большой, цельной и благородной человеческой личности, нельзя не упомянуть рядом с ним подругу и спутницу всей его жизни — его жену Паулину Герасимовну Рыбакову.

Дочь известного украинского антрепренера и актера Карла Зелинского\* и сама талантливая актриса, она прочно связала свою судьбу с судьбой Николая Хрисанфовича, и с тех пор — с начала 40-х годов до самой смерти мужа — жизненный и актерский путь Паулины Герасимовны навсегда слился с его путем.

Может быть, именно поэтому ее собственное актерское имя несколько померкло и потускнело, прикрытое могучей тенью славы ее мужа.

А между тем современники весьма высоко ценили дарование Рыбаковой, отзываясь о ней как об одной из звезд первой величины даже среди лучших актрис русской театральной провинции. На страницах «Репертуара и Пантеона» за 40-е годы прошлого столетия в корреспонденциях, присылавшихся из Харькова, Екатеринослава, Ставрополя, можно было не раз прочесть ее фамилию с добавлением самых высоких и лестных эпитетов. Как и ее муж, П. Г. Рыбакова переиграла огромное количество ролей в трагедиях и мелодрамах,

\* Отчество дочери Карла Зелинского — «Герасимовна» заставляет предположить, что имя «Карл» было его театральным псевдонимом.



но, кроме того, ее богатые вокальные данные помогли ей снискать большую популярность и в оперном репертуаре. О широте и разнообразии творческих возможностей П. Г. Рыбаковой некоторое представление может дать напечатанная в «Репертуаре и Пантеоне» за 1843 год статья «Екатеринославский театр во время Петропавловской ярмарки». Автор этой статьи, характеризуя лучших актеров труппы К. Зелинского, отмечает «разнообразную до изумления и если не всегда равно верную, то всегда очаровательно эстетическую игру госпожи Рыбаковой в самых различных ролях — то Мары Петровны в «Деловом человеке», до Сусанны в «Бабушке и внучке», Гретли в «Тоске по отчизне», Габриэли в «Девушке-гусаре» или Маши в «Подмосковных проказах», Лизы в «Барышне-крестьянке» и Эсмеральды (в пьесе этого имени), Вероники в «Уголино», Офелии в «Гамлете», Марии в «Материнском благословении» и т. д.

Одесский корреспондент журнала «Репертуар и Пантеон» в 1846 году, характеризуя игру П. Г. Рыбаковой в роли Офелии, писал, что «это была шекспировская Офелия; во многих местах трогала до глубины души».

В журнале «Пантеон» за 1848 год мы находим большую статью об исполнении Рыбаковыми на сцене Ставропольского театра главных ролей в драме «Материнское благословение, или Бедность и честь».

Драма эта — перевод и в значительной мере переделка Н. А. Некрасовым (под псевдонимом Перепельский) французской мелодрамы «Божья милость, или Новая Фаншон» Деннери и Лемуана. Во Франции эта мелодрама пользовалась огромным успехом. Э. Золя писал в 1881 году, что вся Франция рыдала над горем бедной Марии. Н. А. Некрасов перевел пьесу после появления ее во французской печати, значительно усилив социальные мотивы драмы, заострив противоречия между бедным людом и аристократией.

Пьеса, поставленная впервые в Александринском театре в 1842 году, продержалась на столичных и провинциальных сценах до начала XX столетия и была показана даже после революции.

Содержание ее таково. Мария, дочь бедных крестьян, любит пастушка Андре, но по настоянию родителей вынуждена уйти с группой савояров в Париж, так как дома ей грозит преследование развратного старика маркиза.

В Париже Мария узнает, что ее Андре не пастушок, а маркиз де Серви, сын владелицы имения. Он любит Марию, окружает ее роскошью, старается образовать ее ум. Он уверяет, что мать его, маркиза, согласна на их брак, но только хочет, чтобы Мария получила прежде воспитание, которое требуется от дамы аристократического круга.

Отец Марии (которого играл Н. Х. Рыбаков) ищет свою дочь в Париже. Придя в ее дом, он не верит глазам своим, видя окружающее ее богатство.

Узнав от отца, что мать больна, Мария падает к его ногам, но он ее отталкивает, говорит, что она не дочь ему, и с проклятием убегает. Получив затем известие, что ее друг женится на другой, Мария теряет рассудок.

Безумную Марию приводят домой. В родной обстановке она постепенно приходит в сознание и считает свою прошлую жизнь сном.

Но вот является маркиз де Серви, он не женат. Его мать скончалась, и он теперь может жениться на Марии.

Сюжет пьесы основан на изменениях в судьбе Марии. Хотя образ ее нарисован далеко не в реалистических тонах и вся пьеса имеет сентиментально-мелодраматический характер, переживания и злоключения героини наталкивали русского зрителя на размышления о насилиях и издевательствах, которым подвергались в помещичьих усадьбах русские крестьянки.

Исполнение роли Марии требовало большого сценического мастерства. Простая и веселая крестьянская девушка предстает перед зрителями то счастливая взаимной любовью, то слабая, стеножащая у ног разгневанного отца, то обезумевшая при виде маркиза, направляющегося к церкви венчаться с другой.

В Москве эту роль играли такие прославленные актрисы, как П. И. Орлова и Л. П. Никулина-Косицкая.

Об исполнении П. Г. Рыбаковой рецензент пишет: «Когда Рыбакова, отойдя от окна, обратилась к нам, мы ее не узнали: она не сходила со сцены, не более пяти минут простояла у окна и в эти пять минут совершенно изменилась: лицо ее вытянулось и побледнело, голос переменялся, волосы отделились от висков, глаза засверкали каким-то странным огнем, взоры ее безумно блуждали вокруг и когда падали на кого-либо из зрителей, то ему становилось страшно, кровь останавливалась в жилах, сердце замирало». Так же блестяще, по мнению рецензента, играла актриса и в последнем действии, когда Мария возвращалась в дом родителей. «Кто бы узнал Марию в этой женщине — худой, бледной, больной, усталой, изможденной, едва передвигающей ноги».

О П. Г. Рыбаковой в 50-х годах писали, что она принадлежит к числу тех артисток, которые до мелочей вникают в играемые ими роли. «Костюмировка и гримировка верны изображаемому характеру».

С годами Паулина Герасимовна, как и ее муж, изменила свое первоначальное амплуа и перешла на роли бытовых старух и свех в пьесах Островского и других драматургов его школы.

Рецензии, помещавшиеся в 1860 году в «Харьковских губернских ведомостях», дают восторженные оценки исполнения ею роли Старой барыни в «Грозе», Анны Петровны в «Бедной невесте» и ряда других.

Ей вполне удалось эти новые, взятые из окружающей жизни образы. Она в них сумела удовлетворить даже такого требовательно-го ценителя, каким был Островский. В письме к Павлу Васильевичу Н. Х. Рыбаков сообщал 28 июля 1865 года: «Жена моя играет старух во всех современных пьесах, и с большим успехом. Про это можешь спросить у самого Островского».

Несмотря на свою известность в провинции, в начале 70-х годов Паулина Герасимовна решает все же покинуть сцену, для того чтобы целиком посвятить себя семье — мужу и детям.

Семья Рыбаковых являла собой пример единства, взаимной любви, дружбы и уважения. Она может служить живым опровержением ходячего представления о том, что актера провинции обязательно характеризует неустойчивость семейных отношений, легкость взглядов на вопросы семьи и брака.

И хотя подобные факты, несомненно, имели известное место в действительности, они не были тем не менее органически присущи деятелям русского театра.

Неуважительное отношение к женщине, отсутствие прочной семьи, заботы о детях и их воспитании — все это порождалось ненормальными условиями быта бродячих и нищих русских провинциальных актеров.

Н. Х. Рыбакову и его семье за годы скитаний по провинциальным сценам также пришлось многое испытать и перенести, немало претерпеть обид, горестей и унижений (вспомним хотя бы описание А. И. Шуберт службы Рыбакова в антрепризе Никитина или описание скитаний Рыбакова в книге Л. Н. Самсонова «Пережитое»).

И тем не менее дом Рыбаковых, хотя и находился по большей части «на колесах», всегда встречал многочисленных друзей и знакомых истинно русским гостеприимством и хлебосольством, причем та неизменно радушная обстановка, которая здесь, по словам современников, безраздельно царила, всегда исходила в равной степени и от Николая Хрисанфовича и от Паулины Герасимовны.

В периоды гастрольных поездок и неизбежно сопряженных с ними разлук Рыбаков сильно скучал по дому и по домашним, отсылая семье большую часть тяжелым трудом заработанных им за поездку денег.

Если же от всей этой многотрудной и невеселой скитальческой жизни, от закулисных дряг и интриг нападали на Николая Хрисанфовича времена совсем уже неодолимые приступы уныния и то-

ски, то лишь срочно выезжавшая к нему жена одна могла успокоить этого большого и сильного, но не всегда умевшего владеть собой человека.

В сохранившихся многочисленных письмах Николая Хрисанфовича к жене, писанных в разные периоды на протяжении трех десятилетий, неизменно видно чувство глубокой привязанности к семье и трогательной любви к ней.

«Милый друг мой Павочка», — начинается первое сохранившееся письмо от 5 апреля 1846 года и этими же словами начинается последнее письмо, написанное из Тамбова 1 ноября 1876 года, за две недели до смерти.

«...А я, мой друг Пава, что тебе сказать о себе, грустно! очень, очень грустно, что встречаю радостный для всех праздник без вас, мои драгоценные. [...] Тоска сдавила все мои чувства и держит в таком оцепенении. Что это, я плачу. О лейтесь слезы, мне легче будет...» — пишет Н. Х. Рыбаков в одном из писем.

В семейной переписке Рыбаковых обнаруживается и один случай конфликта между супругами. Дело касалось первой женьтыбы Константина Николаевича Рыбакова 27 сентября 1876 года. Из Тамбова Николай Хрисанфович сообщал жене, что одна «окопчившая курс в институте молодая, хорошенькая девица [...] влюбилась в Костю и поступила для него в Павловский театр, [...] они уже гражданские супруги, [...] теперь она живет с нами, но повторяю, что эта девушка честная, умная и любящая Костю безгранично, он тоже любит ее. Ну, одним словом, лучшей я ему жены не желаю».

Паулина Герасимовна потому ли, что считала сына слишком молодым для семейной жизни (тем более что перед ним стоял вопрос о воинской повинности), потому ли, что считала безнравственными супружеские отношения без официального брака, она резко восстала против поступка сына.

«Если бы твое письмо, — пишет в дальнейшем Николай Хрисанфович, — попало в руки Кости, это было бы для нас обоих смертным ударом, [...] ради самого создателя будь благоразумна, не будь убийцей своего детища, [...] Они так привязаны друг к другу, что никакой силой их не разлучить. [...] Уверься, наконец, что нравственность, в которой мы с тобой родились, уже более не существует, [...] да в чем обвинить эту девушку, в том разве, что она отдала честь и доброе имя свое Костику на жертву, [...] если, бог даст, пройдет мимо его воинская повинность, то мы их женим». В последующей переписке мы встречаем первый случай резкого упрека жене: «Я писал к тебе о Косте, просил тебя богом, чтобы ему какой-нибудь привет написала, а ты уперлась как бык и ни полслова. Ей-богу, удивляюсь таким черственым сердцам».

Сердечная привязанность и искренняя дружба, связавшие между собой супружескую чету Рыбаковых, вне всякого сомнения, опирались и на глубокое творческое единство и понимание. Сама талантливая актриса, П. Г. Рыбакова, бесспорно, могла, как никто другой, понять художественные планы и замыслы мужа, могла быть его настоящим товарищем и советчиком в трудную минуту. Для человека, подобного Рыбакову, безраздельно преданного своему искусству, это ощущение взаимного творческого понимания и близости должно было быть едва ли не самым главным и решающим в его личной жизни.

Глубокую любовь и привязанность питал Рыбаков и к своим детям. Особенно характерно в его взаимоотношениях с ними то, что с ранних лет он был для них не только нежным и заботливым отцом, но и безгранично почитаемым представителем волнующего и манящего, радостного и прекрасного театрального мира. Именно этой театральной стихией, которую неизменно несли в себе Н. Х. Рыбаков и его жена, было предопределено дальнейшее жизненное поприще их детей.

У Рыбаковых было два сына и две дочери. Сын Константин и дочь Ольга целиком посвятили себя театру, вступив на тот же актерский путь, который с честью прошел их отец.

Ранняя смерть не дала развернуться дарованию любимой дочери Рыбакова. Она с успехом играла с отцом в Курске, Сумах и в других городах и умерла от чахотки 6 ноября 1870 года.

Ольга Рыбакова ушла из жизни, не раскрыв до конца тех творческих возможностей, которые были заложены в ней. «Я потерял любимую дочь, которая обещала быть впоследствии замечательной артисткой», — с глубокой горечью, со слезами на глазах говорил старик Рыбаков при встрече своей давней харьковской партнерше актрисе Е. Литовской.

И в этих словах осиротевшего отца одновременно звучали и тоска об умершей дочери и безграничная грусть о погибшей актрисе, продолжательнице его славного дела.

Зато радость и отцовскую гордость успел испытать Н. Х. Рыбаков, наблюдая первые самостоятельные шаги в искусстве своего высокоодаренного сына, в будущем выдающегося артиста Малого театра Константина Николаевича Рыбакова.

Почти в каждом письме из Павловска и Тамбова в 1876 году Рыбаков сообщает жене об успехах сына. «Костя играл Глумова в «Бешеных деньгах» и был очень хорош. Вся труппа и Федотов за ним ухаживают, да и действительно он лучше всех наших любовников». «Костя каждый спектакль (играет.— А. К.) по две роли, замучили бедняжку». «Костя играет все почти первые роли».

В свою очередь Константин Николаевич боготворил отца, бывшего для него идеалом человека и артиста. В 1911 году, в день 100-летнего юбилея со дня рождения Николая Хрисанфовича, его сын рассказал одному из газетных корреспондентов о днях своей юности:

«Родился я 29 февраля 1856 г. в г. Казани и скоро был перевезен оттуда в г. Харьков, где и протекли годы моей юности. В Харькове я учился в 1-й классической гимназии, но ее не кончил, так как на 15-м году жизни ушел на сцену. Родители мои были против такого раннего поступления на сцену и требовали, чтобы я окончил сначала гимназию, но, живя в артистической семье, я с детства был отравлен кулисами, и это решило судьбу моей жизни. Первые мои шаги на сцене я начал во Владикавказе, где играл с отцом, но тогда, конечно, я был только «на выходах». Отец с самого начала предупредил меня, чтобы я не надеялся на его указания, а пробивался бы сам. Единственным подспорьем и учебем были воспоминания отца о себе и о своем учителе Мочалове. Игра отца произвела на меня неизгладимое впечатление, я увлекся простотой его игры, и это дало мне много ценных указаний. Играл я с отцом до самой его смерти. Между прочим, в 50-летний юбилей его артистической деятельности шел «Лес», в котором отец играл Несчастливцева, а я гимназиста».

В этом рассказе Константина Николаевича об отце особенно существенной представляется одна деталь, ярко рисующая честность и принципиальность Н. Х. Рыбакова в вопросах искусства. Это нежелание артиста, несмотря на всю любовь к сыну, устроить ему сценическую карьеру с помощью своего театрального авторитета и своих театральных связей.

Так и в семейных отношениях Рыбаков неизменно оставался самим собою — все тем же бескомпромиссным и неподкупным человеком, пронесшим через всю свою жизнь одну всепоглощающую страсть — театр. И именно потому, что страсть эта была так сильна в нем, не позволял артист ни себе, ни другим никакой нечестности и никакой лжи в вопросах искусства.

Было бы неверным при этом сказать, что Рыбаков не был честолюбив, что он был равнодушен к успеху, к аплодисментам, к вызовам, адресам и подношениям восхищенных и благодарных зрителей. Нет, он желал славы, желал полного, всенародного признания своего таланта. Более того, он хотел упрочить и приумножить славу своего имени в своих наследниках — детях и учениках. Но эту славу артист завоевывал неустанным и самоотверженным, честным трудом в искусстве, и такой же честности и самоотверженности требовал он и от людей, окружавших его и близких ему.

Обожая сына и видя, как ярко разгорается его крушной артистический талант, Николай Хрисанфович мечтал только о том, чтобы

сын был избавлен от той горемычной доли актера-странника, актера, мечущегося из одного захудалого провинциального театра в другой, какую пришлось испытать ему самому. Он мечтал найти для сына постоянное пристанище в составе достойной его таланта труппы. Этим пристанищем могла быть в то время только труппа столичного казенного театра. И для осуществления этой своей мечты Рыбаков не мог отказаться от возможного содействия со стороны.

В 1876 году из Павловска он пишет жене: «Федотов дал слово похлопотать о Косте, о принятии его в императорский театр, а он может это сделать, потому что он со всем начальством очень хорош и я питаюсь надеждой, что авось либо вывезет это средство». И все же ходатайство Федотова не помогло. Константин Николаевич был принят в труппу Малого театра по рекомендации жены Федотова, знаменитой артистки Г. Н. Федотовой, лишь через пять лет — в 1881 году.

Сценическое искусство никогда не было самоцелью для передовых демократических деятелей русского театра.

Всем своим существом они впитывали окружающую их жизнь и плоды своих наблюдений, размышлений, обобщений, свой суд над действительностью несли с подмостков той лучшей части зрителей, которая жадно искала в искусстве правду и жизнь. Сцена для передовых художников русского театра, по образному выражению Гоголя, служила великой кафедрой, «с которой можно сказать миру много добра».

Сама жизнь лучших наших актеров, имена которых являются гордостью и украшением русского театра, была всегда неразрывно слита с их творчеством, была построена на тех же высоких принципах, на которых основывалось их искусство.

Такова была жизнь Щепкина, Мочалова, Ермоловой, Ленского, Комиссаржевской, Станиславского, Качалова и многих других великих русских актеров.

Во многом различны были их индивидуальные судьбы, их склонности и их характеры. Среди них были и мыслители, прозревающие умственным взором грядущие пути родного искусства, теоретически осмысливающие и оформляющие театральный опыт — свой и своей эпохи, и были люди, целиком ушедшие в каждодневный творческий труд, в создаваемые ими сценические образы.

Были люди, передававшие широко и умело свой опыт, свои знания, учителя по призванию, такие, как Щепкин, как Ленский, как Станиславский, и были люди замкнутые, подобно Мочалову и Ермоловой, вне сцены глубоко таящие тот огонь, который сжигал их сердца.

Но при всем индивидуальном отличии каждого из этих актеров их объединяет одно основное свойство — благоговейное, трепетное отношение к своему искусству. У всех у них искусство безраздельно отдано на службу жизни, а жизнь — их собственная, личная жизнь — полностью и до конца поглощена искусством.

«Моя жизнь в искусстве» — назвал Станиславский свою книгу, те же слова могли бы сказать о себе и о своей жизни и другие великие русские актеры, воздвигшие величественное и прекрасное здание русского театра.

«Моя жизнь в искусстве» — с полным правом мог бы сказать о своей жизни, о своем творчестве и Николай Хрисанфович Рыбаков, большой артист и большой человек.

Та огромная, поистине легендарная популярность, какую заслужил Рыбаков у всех, с кем он сталкивался в жизни и на сцене, была завоевана не только его сценическими победами, но и всем его цельным и значительным человеческим обликом.

В историю русского театра Н. Х. Рыбаков вошел не только как крупнейший актер-реалист, но и как могучая, монолитная личность, как человек, всей своей жизнью противостоявший тому омерзительному, торгашескому, буржуазному духу, который безуспешно пытались привить русскому театру, и в особенности театру провинциальному, его «владельцы» и его «покровители».

Рыбаков-человек был образцом и примером для своих многочисленных театральных собратий. Рыбаков-человек, неотделимый от Рыбакова-артиста, заслуживает глубокого уважения и признательности и у советских людей, у нашего народа, умеющего ценить и бережно хранить память о выдающихся деятелях русской демократической культуры прошлого.



## НАРОДНЫЙ АРТИСТ

Летом 1872 года в Москве открывалась первая Всероссийская политехническая выставка. Она должна была не только поразить весь мир своим размахом, многолюдностью, обилием и разнообразием продукции. Она должна была быть новаторской и в другом отношении. Идея новой выставки была горячо подхвачена многими русскими учеными, увидевшими в ней своеобразный форум для пропаганды научных знаний.

Для организации выставки был создан учредительный комитет, куда вошли представители ученого мира и промышленности. Среди устроителей выставки выявились две отчетливые тенденции в плане ее организации. Одни видели в ней мероприятие важное и нужное главным образом для имущих классов и сословий — для тех, кто владел средствами производства. Другие считали, что выставка в не меньшей степени должна адресоваться и к простолюдинам — ремесленникам и рабочим, к тем, кто является активной производительной силой. Сторонники этой точки зрения заявляли, что только люди грамотные технически и имеющие минимальный запас общеобразовательных знаний могут быть хорошими работниками. Они считали, что выставка должна иметь познавательный характер.

В результате деятельности сторонников этого второго направления была создана специальная комиссия отдела попечения о рабочих, подчиненная учредительному комитету Политехнической выставки. В выработанном ею статуте намечалась довольно широкая программа образовательной и просветительной деятельности среди рабочих.

Не мог не возникнуть в этой комиссии и вопрос об организации на выставке театрального предприятия типа народного театра.

Многие представители передовой художественной интеллигенции, издавна мечтавшей о создании в Москве образцовой народной сцены, решили использовать ту общественную волну, которую всколыхнула организация выставки. Поддержанные широкими демократическими кругами, они надеялись с помощью наделенной довольно обширными полномочиями и возможностями комиссии отдела попечения о рабочих создать наконец в Москве давно задуманный ими театр.

Живую заинтересованность в организации нового дела проявили и два крупнейших деятеля русского драматического театра — великий драматург А. Н. Островский и великий актер П. М. Садовский.

По свидетельству близкого к их кружку П. А. Россиева, Садовский, выступая в начале 1872 года, за несколько месяцев до своей смерти, на торжественном вечере в честь 25-летия литературной де-

тельности А. Н. Островского, говорил о необходимости создания народного театра в Москве и отмечал при этом, что «какой бы ни был этот театр в будущем, первым представителем народного татра всегда будет А. Н. Островский».

В самой комиссии нашелся человек, в отличие от остальных ее членов не принадлежавший к привилегированному кругу буржуазных дельцов и стоявший на тех же общественных и художественных позициях, что А. Н. Островский.

Это был Александр Филиппович Федотов.

Сейчас, говоря о Федотове, мы прежде всего вспоминаем его позднейшую деятельность в качестве режиссера и одного из руководителей Общества искусства и литературы, сыгравшего столь большую роль в творческом формировании гения русского театра К. С. Станиславского.

Но еще задолго до организации Общества Федотов был широко известен в художественных кругах России как видный актер, режиссер и театральный деятель.

Воспитанник Московского университета, Федотов принимал активное участие в студенческих волнениях начала 1860-х годов, вызванных общей революционной ситуацией в стране и реакционными действиями правительства в области просвещения.

Федотов был в числе инициаторов состоявшейся 27 сентября 1861 года сходки протеста по случаю закрытия правительством Петербургского университета и манифестации на могиле Т. Н. Грановского 4 октября 1861 года. После этих событий последовали аресты студентов и исключения из университета. В октябре 1861 года Федотов вместе с большой группой студентов был арестован, а в 1862 году по «высочайшему повелению» исключен из университета. Ему пришлось оставить мечту о научной деятельности, но от своих демократических идеалов он не отказался. Избран театральное поприще и вступив в 1862 году в труппу Малого театра, Федотов и тут стал в ряды передовых художников своего времени.

На сцене старейшего русского театра Федотов проработал десять лет — до 1872 года. Здесь он стяжал себе славу талантливой исполнителя Бальзамина, Андрея Брускова, Разлюляева, Афони, Маломальского и других ролей Островского.

Служба на сцене Малого театра явилась для Федотова большой художественной и общественной школой, основанной на великих реалистических и демократических традициях Щепкина и Садовского. Но вместе с тем работа в Малом театре очень скоро во многом перестала удовлетворять артиста.

Не удовлетворяла прежде всего публика, занимавшая все лучшие места зрительного зала Малого театра. Через десять лет об этой

публике с болью и гневом будет писать в своих докладных записках А. П. Островский: «В Москве Малый императорский театр никак не может заменить русского театра (в настоящем значении этого слова), потому что в нем совсем нет места для публики, нуждающейся в русском репертуаре; он всегда будет наполняться богатой буржуазией, гонящейся за современностью\* и желающей искусства модного...»

«Для буржуазной публики нужен театр роскошный, с очень дорогими местами, артисты посредственные и репертуар переводный».

Не мог примириться Федотов, человек с большими и яркими творческими планами, и с тем деспотическим гнетом, какой повседневно испытывала лучшая в стране труппа от чиновников и бюрократов из дирекции и Конторы императорских театров.

В конце 60-х годов, в последние годы пребывания Федотова в Малом театре, он, подобно Островскому, всю жизнь мечтавшему об организации в Москве нового театра «с местами очень дешевыми и отличной труппой», был увлечен идеей создания народного русского театра.

Самой труднопреодолимой помехой к созданию народного театра была так называемая «монополия императорских театров» — строжайшее правительственное запрещение открывать в Петербурге и в Москве какие-либо частные или иные театры, помимо существующих «императорских».

Эта монополия, про которую Островский сказал, что она «стала нетерпима, стала наказанием божеским», препятствовала созданию новых профессиональных театральных организаций в столице и в то же время вредила самим «императорским» сценам, лишенным здорового творческого соревнования с другими театрами.

Много лет спустя, вспоминая свою борьбу за организацию в Москве нового театра, Федотов писал: «Что значило тогда, при существовании казенной монополии театров, получить подобное разрешение — трудно и представить себе в настоящее время».

Политехническая выставка в Москве и поднявшийся в связи с нею вопрос о необходимости «нравственных развлечений для народа» принесли Федотову надежду на возможность осуществления замысленного им дела. Будучи выбранным в начале 1872 года в члены комиссии отдела попечения о рабочих, он решил использовать свое назначение для того, чтобы вновь обратиться к властям за разрешением открыть на выставке народный театр.

\* Говоря здесь о «современности», Островский имеет в виду заполнявшие репертуар театров бесчисленные переводы и переделки пустопорожних западноевропейских «салонных» буржуазных пьес-однодневок.

Предложение Федотова пришлось вовремя — устроителям выставки и ее «высоким покровителям» казалось, что в числе прочих «нравственных мер заполнения времени рабочих» театр для «простолюдинов» может оказаться одной из самых значительных и эффективных. К тому же условия, предложенные Федотовым, почти ни к чему не обязывали: театр не требовал государственных затрат, да и сам Федотов признавал его лишь кратковременным опытом.

После ряда колебаний и сомнений правительство все же решилось на открытие Народного театра, и Федотов наконец получил возможность приступить к широкой деятельности по его организации и популяризации.

Вопрос репертуара глубоко волновал основателя Народного театра, из-за него ему с первых же шагов пришлось вступить в острый конфликт с представителями властей.

Об этом рассказал присутствовавший на обсуждении репертуара будущего театра журналист Захарьин (Якунин): «Репертуар Народного театра обсуждаем был публично: для этого в здании старого университета было устроено несколько заседаний... на которые и были приглашены многие лица, более или менее близко знакомые с театральным делом вообще. Заседания эти были еще в апреле, почти за месяц до открытия театра, и я имел честь присутствовать на первом из них. Установление театральных цен и утверждение всех мероприятий по части состава труппы, предложенных намеченным уже директором этого театра, бывшим артистом Малого театра А. Ф. Федотовым, прошли мирно и без особых дебатов; по как только вопрос коснулся репертуара, то произошла маленькая перепалка между Федотовым и Родиславским, присутствовавшим на этом заседании, по-видимому, в двух лицах — в качестве писателя, который сочинил и перевод более сотни пьес, водевилей и фарсов, и в качестве начальника секретного отделения канцелярии генерал-губернатора; я, по крайней мере, хорошо помню, что в своем споре с Федотовым Родиславский несколько раз произносил фразу: «Едва ли с этим согласится князь Владимир Андреевич \*».

Спор, собственно, шел о том, какой именно репертуар желателен для чисто народного театра; Родиславский предлагал ставить пьесы нравоучительные и патриотические, с легкими водевилями в конце спектаклей; Федотов же доказывал, что при таком репертуаре в театре будет страшная скучища и что после 2—3 таких спектаклей простой народ, как говорится, и калачом не заманишь в этот театр; что народ легко поймет и «Ревизора» и «Гамлета» и Писемского, и Островского...».

\* Московский генерал-губернатор кн. В. А. Долгорукий.

Достаточно сопоставить тот список пьес, который был рекомендован для народного театра Главным управлением по делам печати и утвержден министром внутренних дел, с фактическим репертуаром народного театра на Политехнической выставке, чтобы ясно представить себе различие репертуарной линии, проводимой Федотовым, и репертуарной линии, направляемой и поощряемой правительством.

В рекомендательный список вошло 169 пьес и опер самого различного характера и жанра. Однако из всего накопленного человечеством необъятного богатства классической театральной литературы, из большого количества блестящих современных реалистических русских пьес (это было время Островского, Тургенева, Сухово-Кобылина, А. К. Толстого) в выбранный правительственной организацией список было включено немногим более двадцати пьес, имеющих право называться истинно художественными произведениями.

Все остальное из рекомендованного обширного списка заключало в себе произведения слабые, заимствованные, а главное, насквозь пропитанные отвратительным духом «квасной» официально-самодержавной лженародности.

Псевдоисторические монархические мелодрамы Кукольника, Полевого, Ободовского вперемежку с «простонародными» пьесами Погоского и пустыми водевилями, наспех перелицованными с французского на русский лад, — вот чем хотели заполнить правительственные чиновники сцену Народного театра.

С великими трудностями Федотову все же удалось добиться включения в репертуар тринадцати больших пьес, из которых семь составили такие шедевры русской драматургии, как «Недоросль» Фонвизина, «Ревизор» Гоголя, «Русалка» Пушкина, четыре пьесы Островского: «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», «Свои люди — сочтемся», «Тяжелые дни».

Федотовым были также осуществлены постановки остроумной, основанной на подлинно народном материале комической оперы XVIII века «Мельник — колдун, обманщик и сват» Аблесимова и Фомина и комедии Мольера «Жорж Данден».

Кроме того, на сцене Народного театра были поставлены две оперы — «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») Глинки и «Русалка» Даргомыжского — и семь одноактных водевилей, дававшихся в конце спектакля.

Самой большой победой Федотова в ту пору оказалось именно это завоевание высокохудожественного репертуара. В этой победе, бесспорно, огромную роль должны были сыграть помощь и советы таких людей, как А. Н. Островский и А. Ф. Писемский, наряду с Федотовым участвовавшие в составлении репертуарного плана театра.

П. М. Садовский за несколько месяцев до своей смерти также успел принять участие в предварительных обсуждениях репертуара.

Так же строго, как к выбору репертуара, подошел Федотов и к приглашению актеров в труппу своего театра.

В предуведомлении «Московских ведомостей» о приближающемся открытии Народного театра по этому поводу писалось: «Комиссии по устройству Народного театра при составе труппы руководилась целями чисто художественными. Актеры, составившие себе большую известность в провинции, были доселе известны только по имени столичным любителям». Сообщение «Московских ведомостей» соответствовало действительности.

До 4 июля 1872 года Москва практически с жизнью провинциального театра, с его актерами, даже самыми талантливыми, почти не была знакома. Москвичи от людей, выезжавших в провинциальные города, и от провинциалов, приезжавших в столицы, слышали, что где-то играют талантливые Рыбаков, Милославский, Берг, Стрелкова, но представление о них было самое смутное. Правда, некоторые из артистов провинции, в том числе Милославский и Рыбаков, когда-то дебютировали на сценах императорских театров в Москве и Петербурге, но было это давно, более десятка лет тому назад, сыграли они тогда по нескольку спектаклей — и уехали, а куда — москвичи и петербуржцы даже и не знали. Другие мастера провинциальной сцены в столицах и вовсе не появлялись, — разве только в пост, в Большой зале трактира Барсова, где тогда находилась театральная биржа.

Незнание столицами провинциальных театров и артистов, порожденное пресловутой монополией императорских театров, было одинаково пагубно как для провинциальной, так и для столичной сцены. Провинциальные актеры этим изолировались от творческого воздействия выдающихся артистов столичных театров, от взыскательной оценки своего труда искущенным столичным зрителем и квалифицированной столичной критикой. Столичные театры, лишённые атмосферы творческого соревнования, оставались без стимула для обогащения своего репертуара и совершенствования актерского искусства.

Несмотря на то, что артисты, вступившие в труппу Народного театра, получали меньшее жалованье, чем им платили в провинции, и были лишены обычного вознаграждения бенефисами или какими-либо частыми сборов, труппа театра быстро пополнялась славными и популярными именами актеров, впервые демонстрирующих столице свои яркие и самобытные дарования.

Творчески неудовлетворенных провинциальных актеров, скитавшихся от одного вымогателя-антрепренера к другому, увлекала и

вдохновляла надежда поступить наконец в театр, рассчитанный на широкую народную публику, в театр, не преследующий кассово-коммерческих целей, в театр с серьезным реалистическим репертуаром.

Увлекла и вдохновила эта надежда и Н. Х. Рыбакова, получившего от Федотова приглашение вступить в труппу организуемого им театра.

Путь к народному театру, о котором мечтали драматург Островский и режиссер Федотов, был органическим путем и артиста Рыбакова.

После бесприютных странствований по углам и закоулкам русской провинции ему теперь предоставлялась возможность обрести хотя бы под старость серьезную и интересную работу в многообещающем, нодинно творческом деле.

Несомненно, увлекло Рыбакова и то, что новая, реалистическая драматургия, которую с трудом, в борьбе насаждал он на рутинной и косной частной провинциальной сцене, должна была занять основное место в открывающемся театре.

Но главное, что должно было придать новые силы старому актеру, была сама идея служить своим искусством не пресыщенным аристократическим снобам, не купцам-толстосумам, а русскому трудовому народу, ищущему на сцене высокой гражданственности, воплощенной в суровых и правдивых жизненных образах.

К народному, трудовому зрителю влекли Рыбакова и собственное «плебейское» происхождение, и уроки великого актера-демократа Мочалова, и дружеские связи с Л. Н. Самсоновым — актером-бунтарем, другом и поклонником Добролюбова, и трудная скитальческая, полная лишений жизнь, и ненависть ко всевозможным притеснителям и эксплуататорам в театре и вне театра.

Глубоко народным было и само дарование артиста, основывающееся на природной пытливости, наблюдательности, знании жизни. Рыбаков был истинно народным артистом, и потому с таким желанием и энтузиазмом взялся он за работу в Народном театре, от которого ждал много, гораздо больше, чем тот мог и сумел дать в действительности.

Первый месяц пребывания в Москве, перед открытием театра, прошел для Рыбакова, как и для большинства его товарищей-артистов, в кипучем, напряженном и вдохновенном труде.

Драматическая труппа театра, насчитывавшая около 45 человек, была составлена из крупнейших провинциальных актеров, таких, как К. Ф. Берг, В. А. Макшеев (впоследствии перешедшие в Малый театр и занявшие в нем видное положение), М. И. Писарев (впоследствии один из ведущих актеров Александринского театра), Е. Д. Ли-

новская, А. И. Стрелкова, А. Н. Мочалова, и из нескольких наиболее талантливых московских и петербургских любителей.

Все эти съехавшиеся из разных концов страны люди, в большинстве случаев никогда раньше не встречавшиеся друг с другом, разного возраста, разного театрального опыта должны были слиться в единый театральный коллектив, в единый ансамбль, способный за короткий срок репетировать и поставить десять пьес русского репертуара, большинство из которых составляли величайшие произведения нашей драматургии — «Недоросль», «Ревизор», комедии Островского. Задача почти неосуществимая, особенно если учесть, что работа проходила в условиях нездорового ажиотажа газет, многие из которых травляли будущий Народный театр, задевали поступивших туда актеров.

Но, несмотря на все враждебные выступления реакционной прессы, с остервенением нападавшей на еще не открывшийся театр, труппа была охвачена горячим творческим подъемом, с увлечением репетировала с утра до вечера предстоящие спектакли и верила в то, что так успешно начатое дело даст свои достойные плоды, что Политехническая выставка послужит лишь предлогом, лишь началом для организации постоянного народного театра в Москве.

Во многом поддерживало творческую атмосферу и то искреннее участие, какое проявляла к театру и его актерам передовая демократическая общественность столицы. Даже консервативные «Московские ведомости» вынуждены были признать, что «сочувствие общества на стороне Народного театра; москвичи с нетерпением ожидают его открытия».

Полный воодушевления и радужных надежд, с жаром отдавался работе и один из старейших актеров труппы Н. Х. Рыбаков. Несмотря на то, что некоторые из ролей, которые ему пришлось репетировать и играть на сцене Народного театра, уже много раз были играны им прежде в провинции, он снова и снова продумывал, пробовал иверял новые оттенки, новые краски для своего Простакова, Земляники, Любима Торцова, Русакова, Брускова и Большова.

Не малую помощь актеру, как и остальным его товарищам, оказывал при этом талантливый и культурный режиссер А. Ф. Федотов.

И если через много лет К. С. Станиславский будет писать, что для него общение и репетиции с Федотовым были в молодости «лучшей школой», то столь же серьезной школой были репетиции с Федотовым и для маститого провинциального артиста Рыбакова. Впервые за свою почти пятидесятилетнюю сценическую практику Рыбаков встретился с режиссером, обладавшим, по словам Станиславского, «нечеловеческой энергией» и увлеченностью в сочетании с ярким талантом; встретился с режиссером, умевшим объединить в решении



общей творческой задачи весь разношерстный коллектив театра, направить волю этого коллектива на раскрытие своего художественного замысла, основанного на глубоком постижении идеи пьесы.

«Федотов,— по словам Станиславского,— умел разбирать стену, стоявшую между актером и ролью, и сдирать мундир обветшалых традиций, давая вместо них иные, подлинные традиции искусства». Мог ли не приветствовать это драгоценное качество режиссера артист, всю свою сознательную творческую жизнь прошедший в борьбе с обветшалыми провинциальными традициями и условностями?!

Рыбаков с открытой душой принимал помощь Федотова и сам в свою очередь своим талантом и мастерством обогащал сценический опыт режиссера.

Месяц работы прошел незаметно.

И вот наконец 4 июня 1872 года занавес Народного театра был поднят, и «Ревизором» Гоголя театр начал свое славное, но кратковременное существование.

Первый же спектакль показал, что в той мере, в какой это вообще было возможно в условиях деспотического гнета самодержавной России, наименование «народный» оправдывалось театром. Во всяком случае, об этом говорил тот живой и сочувственный интерес, какой проявил к «своему» театру трудовой московский люд.

Корреспондент «Современных известий», газеты, которая еще 30 мая всячески поносила Народный театр, объявив его «нравственным развратителем простонародья», 6 июня, через два дня после его открытия, следующим образом описывал этот знаменательный день: «На площади перед театром, или, лучше сказать, на дворе театра, толпилась целая масса народа. Все они очень хорошо знали, что билетов давно нет, однако же не расходились: таким образом, сверх всякого ожидания, на дворе театра образовалось что-то вроде народного гуляния... народ стоял целыми массами, стоял, облепивши фонтан, лез на барьер народной кухни и теснился даже за оградой двора. Но вот день стал портиться, заморосил дождь; в середине спектакля уехал великий князь (весьма характерная деталь, говорящая об отношении правительства к новому театру! — А. К.), спектакль приходил уже к концу, дождь полил сильнее, а народ все стоял и не хотел расходиться».

«Что его заставляло мокнуть под дождем и приковывало к этому месту?» — задается вопросом очевидец этого необычайного оживления. «Такого интереса, такого полного сочувствия невозможно было ожидать», — восклицает он с изумлением, за которым следует вынужденное признание: «Одна мысль, что театр народный, что он построен для него, для народа, удерживала его, несмотря на эту погоду».

Надо сказать при этом, что сам выбор бессмертной комедии Гоголя для открытия Народного театра был в высшей степени знаменателен. Особенно если учесть, что здесь «Ревизор» впервые в Москве ставился с добавлением ряда сцен, исключавшихся в постановке Малого и других театров. В спектакль были введены сцены с Растаковским, с унтер-офицерской вдовой и, главное, — монолог городничего: «Чему смеетесь?»

О том, как встретили представители «охранительских» тенденций известие, что труппа вновь открывающегося театра задумала осуществить постановку гоголевской сатиры, убедительно рассказывалось в одной из статей, напечатанных в период открытия Политехнической выставки газетой «Русские ведомости».

«Когда в Москве разнесся слух, что народный театр открывается «Ревизором», — писал в 124-м номере этой газеты рецензент, скрывший свое имя под псевдонимом «Старый театрал», — многие осудили выбор для первого представления этого театра комедии, в которой чиновники представлены в таком виде. И при этом задавали тот самый вопрос, который Гоголь вложил в уста одного из действующих лиц своего «Разъезда»: «А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают такие злоупотребления?»

Первое же представление «Ревизора» показало, что опасения реакционеров, проповедников официальной монархической идеологии не были беспричинными и неосновательными.

Выдающийся успех сопутствовал этому спектаклю.

«Бессмертная комедия Гоголя была исполнена замечательно хорошо. Не раз представление прерывалось взрывом единодушных рукоплесканий, не раз неудержимый смех слышался в зале, не раз одобрительный шепот пробегал по партеру», — описывал исполнение «Ревизора» в Народном театре рецензент «Вестника Московской политехнической выставки» и добавлял, что «этот шепот выпадал большею частью на долю Н. Х. Рыбакова, исполнявшего роль Земляники».

«Эту незначительную роль, — писал рецензент, — он, по словам поэта, перенес в перл создания. Костюм, мимика, движения — все было обдуманно и исполнено с той тонкостью, которая дается немногим».

Прочный и все возрастающий успех спектакля был обеспечен ему прежде всего глубокой современностью пьесы, хотя она и была написана почти за четыре десятка лет до ее постановки в Народном театре.

«Некоторые сцены «Ревизора», — писала одна из московских газет, — отношения, например, городничего к купцам, того же городничего к Хлестакову, как ко всякому сановнику, займы денег, при-

говорка: «я взятку не беру», — вызывали замечания, показывающие, что все та жизнь, эпизодом которой является «Ревизор» с его Сквозниками, Дмухановскими, Хлестаковыми, Ляпкиными-Тяпкиными, Земляниками, мычащими Христианами Иваповичами и пр. и пр., зачастую изменяя форму, до сих пор не изменяет своего содержания или изменяет не настолько существенно, чтобы простой человек, смотрящий «Ревизора», не узнавал и под старинным мушкетером гордничего то же содержимое, что зачастую встречается он под вицмундиром самого современного покроя. Понятен ему этот Абдулин, являющийся теперь таким изящным, с таким «тонким обращением», понятно все в этом превосходном создании Гоголя. «Ревизор» долго и долго должен стоять во главе репертуара русского народного театра», — делает вывод рецензент после просмотра этого спектакля.

И действительно, постановка «Ревизора» держалась в репертуаре Народного театра в течение почти всего времени его существования и была снята после 19-го представления по приказу министра внутренних дел Тимашева, мотивировавшего это тем, что «Ревизор» в Народном театре производит слишком сильное впечатление на публику, и притом не то, какое желательно правительству.

Той же удачей, что и постановка «Ревизора», было отмечено и большинство других постановок театра, завоевавших ему прочный успех у зрителей.

Вспоминая первые дни после открытия театра на Политехнической выставке, его основатель и руководитель А. Ф. Федотов писал в 1886 году.

«Народная публика сразу почувствовала, что ее понимают, что ей за ее трудовые деньги продают хороший, настоящий товар, что в этом наскоро сколоченном общими усилиями тесовом балагане живет неподдельное к ней уважение, — и публика валила в театр. В четыре, в пять дней со дня открытия между ней и театром установилась та взаимная нравственная связь, которая и была главной причиной процветания дела».

«Взаимное уважение» и «нравственная связь» между театром и его публикой, о которых говорит здесь Федотов и которые обеспечили театру и каждой его новой постановке восторженный прием у народного зрителя, основывались прежде всего на том высоком вдохновении, каким были охвачены приехавшие в столицу провинциальные актеры, на их зрелом художественном мастерстве, на таланте режиссера театра и, наконец, на продуманности и серьезности репертуара.

В дальнейшем, от спектакля к спектаклю, этот завоеванный театром успех и доверие публики не ослабевали, но крепили и развивались.

Четыре месяца напряженной творческой работы театра дали свои плодотворные результаты.

Все с большим доверием и любовью относился широкий демократический зритель к труппе Народного театра. Горячими аплодисментами встречали москвичи появление на сцене полюбившихся им провинциальных актеров. Возбужденные разговоры и споры вызывал каждый вновь поставленный спектакль.

О все возрастающем успехе говорили и растущие из месяца в месяц сборы. Несмотря на то, что цены на места в Народном театре были в несколько раз ниже цен на билеты Большого или Малого театров, поступления от поспектакльной платы значительно перекрывали текущие расходы театра. Это объяснялось тем, что просторный зал Народного театра за все три месяца своего существования ни разу не пустовал.

«Театр посещался положительно всеми слоями разнообразного московского населения, от самой интеллигентной и состоятельной публики до последних бедняков, каждое утро дожидавшихся открытия кассы с кровным пяточком в руках. Интерес к этому новому учреждению не ограничивался одним только населением Москвы: редкий из приезжих на выставку не посетил Народного театра», — вспоминал через четырнадцать лет в статье о Народном театре А. Ф. Федотов и дальше, через несколько строк, добавлял: «Несомненно, Москва полюбила этот театр, зала его была почти всегда переполнена зрителями; что же было причиной его популярности и успеха? Ответ в двух словах: Народный театр Политехнической выставки не был увеселительным предметом спекуляции. Это было серьезное, художественно-литературное дело...» И, раскрывая вслед за тем само понятие «серьезное художественно-литературное дело» в том толковании, какое придавал этим словам в период выставки он сам и игравшие под его руководством актеры (в их числе в первую очередь, разумеется, Н. Х. Рыбаков), Федотов писал:

«Опыт показал, что простой русский зритель, не развращенный, если можно так выразиться, условными театральными приемами, не легко поддается на них: он больше ценит в представлении правду, в особенности в комедии, которая более доступна его пониманию, более ему свойственна, чем драма и трагедия. Это особенно ярко подтвердилось, когда в виде опыта были поставлены так называемые «народные водевили»: «Ворона в павлиньих перьях» и «Ямщики». Публика зевала и оставалась к ним вполне безучастной, несмотря на всевозможные старания актеров смешить и как-нибудь оправдать театральную, условную ложь, из которой сшиты эти пьесы; а между тем эта же самая публика от души хохотала в «Ревизоре» и «Недоросле». В драме истинное, жизненное чувство, как бы бледно оно ни

было передаваемо актером, всегда производило большое впечатление, чем крик и декламация. Простой русский зритель за короткое время существования Народного театра сумел показать людям, изучавшим его, что он далеко не так прост, как его считают господа филантропы и до сих пор утверждающие, что *amuser le peuple*\* достаточно масленичных балаганов и тому подобных вещей.

Народный театр уважал свою публику. Уважение это выразилось не в одной лишь вежливости капельдинеров, не в одном отсутствии заманивающих реклам и рецензий, а в том почтении, в том доверии, с какими он относился к своим посетителям, в доверии к здравому смыслу, к уму и чуткости народа, для которого был создан театр. Для народа играли только хорошие, умные вещи, и играли их добросовестно, внимательно, как для самых больших господ».

Позднее, в 80-х годах, высказанная Островским мысль о том, что организация в Москве Народного театра должна помочь Малому театру выйти из творческого тупика, бесспорно опиралась и на краткий, но весьма показательный опыт театра на Политехнической выставке.

Об этом со всей убедительностью говорят многочисленные отклики печати того времени.

«...В течение первого же месяца своего существования Народный театр поставил на своей сцене до десяти больших пьес, из которых многие, несомненно талантливые, или совсем не идут на Малом театре, или же идут с невозможным ансамблем и считаются вконец заигранными». Так писала одна из московских газет и противопоставляла репертуар этого театра ничтожному репертуару и небрежному отношению к постановкам, что (под влиянием буржуазного зрителя и чиновничьего руководства) стало все чаще наблюдаться на образцовой сцене Малого театра:

«Наш Малый театр, за отсутствием конкуренции, начал значительно опускаться вниз и должен бы кое-чем позаимствоваться из презираемой им провинции,— писала та же газета,— а потому Народный театр, показывая новых актеров, ставя хорошие, забытые Московью пьесы, может сослужить службу как со стороны подкрепления труппы Малого театра, так и со стороны освежения репертуара».

Велико было значение Народного театра и в ознакомлении московской публики с выдающимися театральными деятелями провинции, известными до того москвичам лишь понаслышке. Народный театр во многом рассеял распространенное среди жителей столицы недоверие к провинциальным актерам как к актерам низшего порядка, неспособным соревноваться с замечательными мастерами столичных сцен.

\* Для народной забавы (франц.).

«Народный театр сделал весьма чувствительный переворот в убеждениях столичных театралов,— читаем мы в «Вестнике Московской политехнической выставки» за 1872 год.— До сих пор у нас было непреодолимое предубеждение против провинциальных артистов. Публика убеждена была, что провинциальный актер, как бы он ни был любим местной публикой, сохранил в своей игре известного рода резкие манеры, интонации голоса, которые... неприятно влияют на зрителя, привычного к столичной сцене, к столичным актерам...

Народный театр имеет труппу, составленную почти исключительно из провинциальных артистов; кто же не сознается, что многие из них заставляют забыть общее предубеждение против провинциальной сцены? Разве Петербургский и Московский театры не гордились бы такими несомненными талантами, как гг. Рыбаков и Берг?»

«Вестнику Московской политехнической выставки» вторят «Московские ведомости»: «Первый вопрос, который следует предложить, состоит в том, насколько актеры усвоили себе внешние приемы игры? С удовольствием можно заметить, что провинция в этом отношении не ударила лицом в грязь: речь провинциальных актеров ясна и чиста; они обращают внимание на верность тона и интонации; лучшие их представители (г-жа Стрелкова, гг. Берг, Рыбаков и М. Васильев) замечательно строго и умело выдерживают свои роли.

«...Кажется просто невероятным,— писал спустя тридцать лет после закрытия Народного театра Захарьин (Якунин),— по качеству и количеству дарований тот состав, из которого состояла труппа Народного театра! Вот эти громкие и яркие имена: К. Ф. Берг, Н. Х. Рыбаков, Е. Д. Ливовская, Макшеев, М. И. Писарев — все яркие звезды русской сцены!.. С каждым из этих имен проносится пред вами несколько ролей, которых никто другой до сих пор... так хорошо исполнить не может... И оклады-то в провинции были в те времена совсем маленькие, а вот, подите же! — вырабатывались же эти великие жрецы великого и честного искусства!.. Избалованный классической труппою Малого театра, я тем не менее был просто поражен этими крупными талантами, когда увидел их на сцене Народного театра... Да и не я один. Правда слышно было, что есть в провинции знаменитый актер Милославский, играет где-то талантливый Рыбаков, подвизается даровитый Берг...

А когда эти самые Рыбаков и Берг появились в Москве и мы увидели их наконец воочию, а вместе с ними и целую плеяду других крупных же талантов, то приходилось только радоваться такому богатству артистических сил на Руси».

Характерно, что авторы всех трех приведенных отзывов о труппе Народного театра, отмечая богатство обнаружившихся в ней дарований, в качестве примера каждый раз указывали на Николая Рыбако-

ва, того самого Рыбакова, о котором до его приезда в Москву успело сложиться заочное представление как об актере-«орале».

О том, насколько прочным было это представление, можно судить хотя бы по тому, что даже сам Федотов, по свидетельству писателя В. Гиляровского, ответил вначале артисту М. П. Васильеву, предложившему пригласить Рыбакова в труппу Народного театра: «Орала! Оралы нынче не в моде!» — и согласился послать ему приглашение лишь после долгих настоятельных уговоров Васильева: «Да вы посмотрите, Александр Филиппович, сколько правды в нем, как он талантлив!»

Теперь, после выступления артиста в ряде ролей на сцене Народного театра, наконец полностью рассеялась эта навязчивая и лживая легенда.

«Неблагоприятная молва предшествовала приезду Рыбакова в Москву... говорили, что он уже не тот чародей, который пленял своим талантом публику. Он-де на закате... Но Николай Хрисанфович явился и скоро доказал, как еще бодр и силен его талант», — писал позднее один из московских театралов, хорошо помнивший Народный театр и Рыбакова.

Период Народного театра был периодом высшего творческого подъема у старого артиста. Дневные репетиции сменялись вечерними спектаклями. Рыбаков был неутомим: увлекался сам и увлекал своим примером других.

Этот успех Рыбакова на сцене Народного театра был тем более знаменателен, что те требования, которые предъявлялись к каждому вступающему в труппу актеру, резко отличались от его повседневной провинциальной театральной практики.

Вот как позднее формулировал Федотов свои художественные требования к участникам творческого коллектива созданного им театра: «Целью представлений театра было ознакомление зрителей с пьесой и возможно правильное, правдиво-художественное ее исполнение, а не экспозиция артистов, как это в большинстве случаев практикуется предпринимателями. Благодаря этому театр стоял вне зависимости от своей труппы: артист заболел, оставлял службу, его замещали другим, а пьеса продолжала также привлекать публику и зритель получал все цельное впечатление ансамбля, который и был главной задачей при исполнении. Чем же иначе, как не ансамблем исполнения, можно объяснить успех таких общеизвестных пьес, как «Ревизор», который в одно лето выдержал 19 представлений, как «Недоросль» (17 представлений), «Бедность не порок» (16 представлений)?.. Задачей руководителей сцены было также достижение возможной простоты и правдивости в исполнении ролей артистами. В комедии никакие фарсы, никакие подчеркивания не допускались, в

драме постоянно преследовалась всякая напыщенность, аффектация и ходульность...»

То, что старый «бродячий» трагик, над которым, как над каким-то анахронизмом, как над занятой провинциальной нелепостью, заочно посмеивались столичные театралы и «ценители искусств», вдруг по приезду в Москву, попав в один из самых передовых в идейном и художественном отношении театров своего времени, не растерялся, не увял и вместе с тем сумел подчинить свое яркое и самобытное дарование общей творческой задаче и единому художественному ансамблю, — все это казалось для многих и неожиданным и непонятным.

А между тем в этом не было ничего удивительного. К успеху в Народном театре Рыбакова подготовила вся его предшествующая театральная деятельность: совместные выступления с лучшими актерами России — Мочаловым, Щепкиным, Самариным, Живокини, Солеником, Млотковской и другими; близость к кружку Островского — к самому писателю, к П. М. Садовскому, И. Ф. Горбунову, С. И. Турбину; а главное, демократичность его собственных художественных идеалов и великий талант артиста.

Чем дальше, тем больше крепла у Федотова, у Рыбакова, у актеров и зрителей надежда на то, что с закрытием выставки театр сможет продолжить свою жизнь уже в качестве постоянно действующего Московского Народного театра.

Захваченные своими планами, окрыленные успехом у зрителей, они старались не замечать непрерывно поступающих тревожных сигналов, каждодневно напоминавших о непрочности их победы, о невозможности удержать и закрепить завоеванные позиции в условиях господства сил, враждебных народу.

В борьбе с передовым искусством смыкались между собой одинаково боявшиеся народной революции дворянско-бюрократические круги страны, стремившиеся силой административного давления подчинить себе или подавить всякую независимую демократическую творческую инициативу, и представители капитализма, сжимавшего русское искусство тисками финансовой зависимости.

Характер отношений правительства к новому театру выявился очень рано. Уже сам торжественный день открытия народной сцены ознаменовался демонстративным уходом с середины спектакля «осчастливившего театр своим присутствием» великого князя.

Споры с Родиславским и другими ставленниками московского генерал-губернатора кн. Долгорукова и прочих «сиятельных государственных мужей» не прекращались и после открытия театра и далеко не всегда заканчивались торжеством Федотова и коллектива актеров.



Постоянное грубое вторжение «попечителей» и «покровителей» в жизнь театра мешало его нормальной работе, срывало многие интересные замыслы его актеров и режиссера.

Еще в период организации театра и затем на протяжении всей его деятельности в газеты проникли статьи и письма ханжей и мракобесов, травивших это большое художественное начинание и возглавлявших его театральные деятели.

В те дни, когда актеры Народного театра с глубоким волнением готовились к своей первой встрече с московскими зрителями, один из крупных фабрикантов, не пожелавший опубликовать свою фамилию и скрывшийся под инициалами К. П., обратился в редакцию газеты «Современные известия» со специальным посланием, посвященным Народному театру. Лютая ненависть к русскому народу соединялась здесь со смертельным страхом перед революционным движением пролетариата, страхом, усугубленным наглядным примером Парижской коммуны.

«Без приготовления нашего простого народа,— писал означенный К. П.,— в существенно-христианском направлении, нравственно-христианском направлении и в надлежащем понимании своих обязанностей — быть полезным своему обществу и помощниками семействам, нельзя ожидать от театров улучшения в благосостоянии народа. Согласно замечанию вышесказанному, молодые промышленного класса люди большею частью терялись и в прежнее время от театров и знакомства с актерами и актрисами; точно так же и в Париже народные театры нисколько не улучшили в рабочем классе народа нравственности, а лишь более разродили волнений».

Газета, целиком опубликовавшая это послание, снабдила его редакционной статьей, в которой, между прочим, глубокомысленно заявляла: «Театр... обратится во зло скорее, нежели в добро; лишь усилит нравственную язву простонародья, особенно если не приложено будет внимательности к составу актеров и к выбору пьес... Привидение, которого пугается Западная Европа, в виде революции, оказывается, к несчастью, и для нас страшилищем».

Для того чтобы отпугнуть зрителей от Народного театра, его враги, не ограничиваясь газетной травлей, пустили по Москве также проникший в печать слух, что здание, специально выстроенное на Варварской площади для театра, якобы ненадежно и что во время представления ложи, наполненные народом, неминуемо должны будут обвалиться.

Среди многочисленных больших и малых фактов, говорящих об отношении власти имущих «попечителей» к Народному театру и его деятелям, можно отметить и еще один незначительный, но характерный эпизод.

19 сентября 1872 года Комиссия улучшения нравственного быта рабочих решила дать в гостинице «Англия» обед, посвященный закрытию театрального сезона в Народном театре.

Шампанское лилось, гремели тосты и спичи, рассылались приветствия «высоким покровителям». Но среди многочисленных приветственных телеграмм (московскому генерал-губернатору и прочим «высокопоставленным» особам) и тостов (в честь председателя комиссии профессора Киттары, известного фабриканта Коншина и других) не нашлось приветственных слов лишь для инициатора и режиссера театра Федотова, не было тоста и в честь актеров театра, и в том числе в честь старейшего из них — Рыбакова.

Но помимо всех этих моральных унижений и укулов, помимо противодействия идейной и художественной линии театра, пожалуй, наиболее тяжелым моментом в его жизни была та финансовая зависимость, в которой он находился у своих заимодавцев — крупных московских торговых и промышленных тузов.

Все эти «благотворители», давшие театру средства на постройку здания, на оплату актеров и служащих, на изготовление костюмов и декораций, недовольные тем прогрессивным направлением, какое взял театр, грозно и неотступно преследовали его своими векселями. И хотя финансовые дела театра находились в полном порядке, но, естественно, за короткий срок функционирования театра (4 месяца) даже при самых идеальных сборах нельзя было окупить стоимость театрального здания и всех организационных расходов.

Для продолжения своего существования театру нужно было получить длительную отсрочку в оплате по векселям у своих кредиторов, а у правительства полную отмену монополии императорских театров, разрешение на организацию постоянного театра в Москве.

Именно этого и решили добиваться Федотов и актеры его театра. Незадолго до закрытия Политехнической выставки Федотовым был создан подробно разработанный проект основания постоянного народного театра. Этот проект, так же как и аналогичный проект, составленный десятилетие спустя Островским, несмотря на их невыполнимость и утопичность в условиях царской России, является тем не менее весьма значительным документом, свидетельствующим об активизации и укреплении демократических сил русского театра в новую, пореформенную, капиталистическую эпоху.

Как и в первой «Докладной записке», с предложением организовать театр на Политехнической выставке, Федотов и здесь проявил известную ограниченность в общественно-политических взглядах.

Так, полагая, что создаваемый им театр по своему репертуару сможет стать выразителем «характеров, идей и чувств, более или менее доступных всякому русскому, к какому бы классу населения

он ни принадлежал», Федотов тем самым проявил свое непонимание антагонистичности политических и художественных интересов трудящихся и паразитических классов России.

Но при всей исторической ограниченности общественно-политических взглядов Федотова в его проекте постоянного народного театра было очень много подлинно передового и прогрессивного для того времени.

При составлении этого проекта Федотов подошел с глубоким уважением и доверием к русским трудящимся классам. Вслед за другими передовыми деятелями русской культуры он заговорил полным голосом о необходимости художественного служения этим угнетаемым классам общества, о создании специального театра, ставящего своей основной целью приобщение широких масс трудящихся к высшим достижениям отечественной культуры.

Отсюда вытекали две главные задачи: забота о том, чтобы театр по составу своих зрителей был действительно народным, и забота о том, чтобы спектакли, преподносимые этому народному зрителю, были действительно художественными.

Для выполнения первой задачи Федотов хотел вырвать театр из рук частных предпринимателей, стремящихся сделать из него средство наживы. Федотов предлагал создать театр, подведомственный городской думе и управляемый специальной выборной комиссией во главе с двумя директорами: директором сцены и директором хозяйства.

Отлично понимая, что художественная сторона задуманного театра основывается прежде всего на его репертуаре, Федотов желал видеть будущий театр с репертуаром «таким же по преимуществу русским, каким он был в Народном театре», желал сохранить его основное идейное направление, формулируемое им как «нравственно-воспитательное, осмеивающее или поругивающее все невежественное, корыстное, развратное и пошломое...».

Не находя возможностей в дальнейшем извлекать эти «осмеивающие и поругивающие» пьесы из тенденциозного и куцевого списка, разрешенного Народному театру во время выставки, Федотов настаивал на его расширении за счет «пьес прежде написанных и новых». Наряду с этим он предлагал полностью очистить репертуар Народного театра от «так называемых ложнопатриотических драм и трагедий, с их неискренним, изукрашенным, придуманным отношением к трактуемому предмету».

«В репертуар проектируемого театра,— писал далее Федотов,— пи в коем случае не должны входить пьесы так называемого каскадного характера, подобные опереткам Оффенбаха и их русским подделкам, как «Боги Олимпа», «Богатыри» и т. п.»

С целью привлечения широкого народного зрителя Федотов в качестве одного из неприменных условий предлагал сохранить дешевую расценку билетов, существовавшую в театре на Политехнической выставке.

Вместе с тем, исходя из опыта того же Политехнического театра, Федотов надеялся получить сборы, значительно превышающие текущие расходы, с тем чтобы «проценты от запасного капитала, образующиеся из остатков от сборов, за покрытием расходов, были обрацаемы, независимо от улучшения состояния театра, на другие образовательные учреждения города, как-то: школы, читальни и т. п.».

Стремясь уничтожить разделение на привилегированную и «черную» публику, Федотов считал необходимым устроить при театре «большое фойе для отдыха публики, без всякого различия между купившими дорогие или дешевые места: пример Народного театра, — разъяснял Федотов, — показал, как чинно ведет себя русский народ в месте, смысл и значение которого он уважает».

Отмена продажи спиртных напитков во время антрактов (обычая, распространенного почти во всех театрах того времени) также говорила об общей культурно-просветительной направленности федотовского плана.

Свой проект, поддержанный демократическими кругами русского общества, Федотов послал на утверждение по всем существовавшим тогда правительственным инстанциям, вплоть до окончательного «высочайшего соизволения».

Но если передовая русская общественность, если актеры русского театра (и в их числе первый актер Народного театра Н. Х. Рыбаков) с глубоким волнением ожидали решения об учреждении Народного театра, видели в нем цель и оправдание своих трудов и своего искусства, то совершенно по-иному отнеслась к этому предложению правящая реакционная клика.

Обманувшись в своих надеждах на театр Политехнической выставки, она ждала только подходящего момента, когда можно будет без большого шума прикрыть это «крамольное» учреждение.

Толпа, осаждавшая в день открытия Народного театра здание на Варварской площади, представлялась охранителям самодержавия слишком грозной и враждебной силой, и сплочение ее, даже временное, даже под сводами театра (особенно, когда в этом театре шел «Ревизор» или «Свои люди — сочтемся»), казалось в высшей степени опасным и предосудительным.

Произошло то, что неминуемо должно было произойти: ходатайство Федотова и труппы театра было отклонено. Театр, просуществовавший три месяца при Политехнической выставке и один месяц после закрытия выставки, 1 октября был закрыт, а его здание и имущество

оказались запроданными двум бывшим «благодетелям», ранее субсидировавшим театр, а теперь грозившим представить ко взысканию свои векселя.

Этими «благодетелями», 20 мая 1873 года купившими за 22 523 рубля 40 копеек Народный театр на Политехнической выставке, были чиновники при московском генерал-губернаторе кн. Долгорукове — кн. Урусов и Танеев.

С каким же возмущением должны были после этого вспоминать актеры разогнанного театра лицемерное пожелание «дальнейших успехов театру», высказанное царем Александром II, после того как он однажды «соизволил» посмотреть «Ревизора» на народной сцене!

Тяжелое разочарование принесла ликвидация Народного театра и старейшему и лучшему его актеру Н. Х. Рыбакову. Для артиста, всю жизнь мечтавшего обрести твердое пристанище в серьезном творческом деле, существующем для подлинного служения великому русскому народу, для артиста, всю жизнь тщетно искавшего такой передовой театр и лишь под старость ощутившего возможность его создания, потеря этой надежды, этой мечты была равносильна катастрофе.

Снова перед ним расстилались бескрайние дебри театральной провинции с ее волчьими правами, с ее произволом сильного над слабым, с ее унизительным покровительством, с ее каботинством, с ее пошлостью, грязью и бездорожьем. Снова скрещивался перед ним мертвый узел дорог проезжих и прохожих, проселочных путей и узких лесных троп.

— «Куда и откуда?»

— «Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?»

— «Из Керчи в Вологду...».

В этой краткой классической формуле старой русской театральной провинции соединилась вся глубокая, вся трагическая ее безысходность.

Но Рыбаков не хотел сдаваться. Раз испытав высокий творческий взлет и чувство подлинного художественного удовлетворения при встрече с оценившей и полюбившей его демократической публикой Народного театра, Рыбаков стремился и дальше найти хоть какой-нибудь путь к театральному общению с этим непосредственным, живым, взволнованным народным зрителем, тем зрителем, для которого слово «правда» является могучим и единственным девизом всякого искусства.

На короткий момент артисту показалось, что вслед за закрытием Народного театра в Москве он сможет продолжить начатое им дело народного служения в другом месте.

Поздней осенью 1872 года Рыбаков получил неожиданное и заманчивое предложение. Предложение это пришло из Одессы от антре-

пренера В. Сура, крупного театрального деятеля на юге России. В Одессе он имел два театральных предприятия: цирк на Канатной улице и русский драматический и опереточный театр на Александровской площади. В 1871 году Сур передал театральное помещение на Канатной улице под Народный театр, организованный Н. П. Чернышевым и двумя братьями-графами Д. и И. Мэрковыми, а цирк перевел в Кишинев.

Инициатором и идейным вдохновителем Народного театра был Чернышев, фанатически преданный делу развития драматического искусства. Весьма посредственный драматический актер и переводчик драматических произведений, он писал в 50-е годы очень содержательные рецензии о Киевском театре. Свое крупное состояние он целиком вложил в различные театральные и другие общественные мероприятия. В Народный театр он внес часть нужного капитала и целиком отдался руководству этим предприятием. Однако в первых числах января 1872 года Чернышев скоропостижно скончался. Финансовые дела Народного театра после его смерти оказались сильно запущенными, и братья Мэрковы недолго после этого держали свою антрепризу. В 1872 году Сур вновь водворил свой цирк на Канатную улицу. Зато драматический театр на Александровской площади он решил обновить и расширить, сделав его как бы продолжением Народного театра Чернышева — Мэрковых. «Новый театр Сура,— писала газета «Одесский вестник»,— громаден и эффектен особенно вечерами; его смело можно причислить, как постройку, к одной из достопримечательностей г. Одессы. [...] Новая отделка театра в русском стиле, газовое фигурное освещение, иллюминация, новая декорация и полная обстановка пьес».

Сур пригласил в свою труппу крупных актеров. К нему перешли звезды оперетки М. В. Лентовский и А. Л. Корбиель. Привлек он выступавшего с громадным успехом в Одессе актера-любителя, впоследствии выдающегося деятеля украинской сцены М. Л. Кропивницкого, а также популярного драматического актера на ампула любовников А. А. Рютчи. Воспользовавшись закрытием Народного театра на Политехнической выставке, Сур послал приглашения его лучшим актерам — Н. Х. Рыбакову, К. Ф. Бергу и М. П. Васильеву. Солидность предприятия Сура и характер его организации с внешним оттенком народного театра очень соблазнили Рыбакова, и он с радостью принял приглашение.

Новый театр Сура открылся 7 октября, а 27 октября состоялось первое выступление в нем Рыбакова в роли Веллизария. Знаменитый актер был принят, по словам рецензента, «весьма радушно», хотя публика и проявила ироническое отношение к устарелой пьесе. «Что сказать о дебюте Рыбакова,— пишет рецензент,— он довольно искус-

по совладал с ролью Велизария, требующего немалого знакомства с классической техникой театрального искусства, Рыбаков умел соединить реальную простоту с торжественным величием героя, охoduленного г. Ободовским. А это дело не легкое». Стремясь привлечь массовую публику, театр Сура ставил пьесы самого разнохарактерного жанра. Наряду с русской классикой — «Ревизор», пьесы Л. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын», комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» — ставились псевдопатриотические пьесы вроде упомянутого «Велизария» П. Г. Ободовского и «Боярина Федора Васильевича Басенкова» Н. В. Кукольника, украинские пьесы, как «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского и «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченко, мелодрамы вроде «Демон, или Граф Сен-Жермен, парижский отравитель» и затем оперетты и оперетты... Рекламируя свой театр в качестве театра, продолжающего идейную направленность театра Чернышева — Мэрковых, Сур являлся фактически только предпринимателем, стремившимся лишь к получению максимальной прибыли. Широко задуманное коммерческое предприятие, однако, продолжалось недолго, и к концу сезона Николай Хрисанфович с разбитыми надеждами и планами возвращался в Москву, на пресловутую актерскую биржу.

Не было, пожалуй, у провинциального актера перспективы более страшной, чем очутиться на бирже в середине сезона, когда все труппы уже набраны, когда антрепренеры разъезжаются по своим театрам, когда каждый новый день влечет за собой горькое разочарование, распродажу сначала дутых серебряных портсигаров и золоченых кубков — подношений «благодарной публики», а затем и последней, тщательно сберегаемой фрaнчной пары.

Увы, страшная эта перспектива не могла миновать и такого маститого ветерана сцены, как Рыбаков.

Достигший преклонного возраста артист был единственным кормильцем и опорой большой семьи, и потому отсутствие твердого, устойчивого заработка, даже на сравнительно короткое время, являлось для него особенно тяжелым и угрожающим: в 62 года трудно жить надеждами и ожиданием счастливой случайности, неожиданно подвернувшегося выгодного контракта.

Лишь спустя несколько месяцев, заполненных эпизодическими выездами и выступлениями, без определенной и твердой службы, приходит с нетерпением ожидаемая «случайность». 13 июня 1873 года в Москве, в помещении бывшего Народного театра на Варварской площади, открывается так называемый Общедоступный театр, организованный купившими Народный театр предпринимателями — Урусовым и Таневым. Театральная монополия, которая для Народного театра и Федотова являлась неодолимым препятствием, оказалась бо-

лее гибкой и податливой перед усилиями двух ловких и беспринципных частных владельцев. Правда, до конца преодолеть театральную монополию им также не удалось. Целый ряд ограничений и рогаток стоял на пути этого первого частного театра в Москве, но все же в неприступной стене театральной монополии была пробита первая брешь.

Типичные дельцы, Урусов и Танеев, затеявая большое театральное предприятие в столице, стремились воспользоваться популярностью и успехами его предшественника — ликвидированного Народного театра на Политехнической выставке.

С этой целью они даже хотели вначале сохранить за своим театром его старое название, но название это после федотовской попытки стало для правительства чересчур одиозным. Один из совладельцев театра на Варварской площади, С. Танеев, вспоминая почти через сорок лет о своей первой московской антрепризе, писал: «Для получения разрешения давать представления в этом театре по окончании выставки пришлось его назвать «Общедоступным», так как слово «народный» в то время произносить было нельзя».

Перед открытием Общедоступного театра Урусов и Танеев всячески подчеркивали его преемственность от Народного театра. С этой целью они неоднократно заявляли о том, что репертуар Общедоступного театра останется по-прежнему высокохудожественным, что двери его будут широко открыты для любого зрителя, к какому бы классу и сословию он ни принадлежал. С этой же целью — подчеркнуть близость двух театров — Танеев и Урусов стремились пополнить свою труппу актерами, уже стяжавшими себе известность во время недавней своей службы в Москве.

Именно поэтому среди других деятелей бывшего Народного театра получил приглашение вступить в новую труппу и Н. Х. Рыбаков.

В первый сезон Общедоступного театра его содержанием удалось собрать труппу, поражающую обилием ярких и своеобразных актерских талантов. Буквально все лучшее, чем располагала в те годы театральная провинция, украшало своими громкими именами афиши этого широко разрекламированного и, казалось, столь многообещающего театра.

Помимо Рыбакова и таких замечательных его партнеров по театру на Политехнической выставке, как М. И. Писарев и В. А. Макшеев, в труппу вошли тогда еще молодые даровитые актеры П. А. Стрепетова, А. П. Ленский, П. М. Медведев, А. И. Погонин, А. К. Любский, П. А. Никитин, Н. Н. Кудрина и другие.

И тем не менее сезон в новом московском театре не принес ни Рыбакову, ни большинству его товарищей по сцене никакого творческого удовлетворения. Прежде всего всячески нарушало нормаль-



ную работу труппы постоянное грубое вмешательство контролировавших ее деятельность правительственных органов. Театральная монополия была лишь поколеблена, но не уничтожена до конца.

Началось с того, что театру не разрешили ставить целиком ни одну из пьес его репертуара. Дозволялось исполнять лишь отдельные «сцены» из спектаклей. Театр пытался всячески обходить это ограничение. Печатаая на афише, что пойдут «сцены из пьес». Общедоступный театр на самом деле ставил пьесы целиком или с небольшими купюрами. Но и эта хитрость не всегда помогала. Как вспоминал один из антрепренеров, С. Танеев, «дирекция императорских театров все-таки часто преследовала Общедоступный театр за нарушение программы и останавливала представления в театре временами на несколько месяцев, а осенью 1874 года на целые полгода. В период таких остановок приходилось давать фокусы, концерты, хотя целые драматические труппы продолжали состоять на жаловании». Все это, естественно, нарушало нормальную работу театра, делало его существование неустойчивым и тревожным.

Но это было еще не все.

В «Русских ведомостях» за 2 июня 1873 года мы встречаем сообщение о таком возмутительном издевательстве над элементарными правами театра и его зрителей, что, не будь в наших руках прямого документального подтверждения этого нелепого правительственного приказа, трудно было бы поверить в его реальность.

«Нам сообщают из достоверных источников,— пишут «Русские ведомости»,— что г. министр императорского двора, через контору московских театров, дал знать гг. учредителям Общедоступного театра гг. Урусову и Танееву, чтобы они при представлении дозволенных им комических и драматических сцен отнюдь не допускали гг. артистов являться в костюмах, соответствующих ролям, ими изображаемым...».

И вот Рыбаков выступает с демонстрацией в знак протеста против издевательского министерского приказа.

Как передавал А. Плещееву артист Общедоступного театра М. К. Николаев-Коваленко, играя на одном из утренних спектаклей роль старика Бернарда в пьесе «Материнское благословение», Рыбаков надел полагающийся ему по роли костюм французского крестьянина. В первом же антракте к нему за кулисы зашел чиновник из дирекции казенных театров. Между артистом и чиновником произошел следующий характерный разговор:

«— Я чиновник дирекции. Николай Хрисанфович, вы не имеете права носить костюм.

— Что же, голым играть прикажете?

— В обыкновенном платье.

— Я в этом костюме по улицам хожу, это мое обыкновенное платье».

И, как рассказывает дальше Плещеев, «Н. Х. Рыбаков, ввиду того что чиновник следил за ним, уехал домой с товарищами в карете Общедоступного театра, не снимая блузы. Когда лошади не шли при повороте в гору, Николай Хрисаффович вылез, желая облегчить лошадей, и гулял в блузе, обращая внимание прохожих своей колоссальной фигурой в таком странном костюме».

Но и помимо театральной монополии и вмешательства правительственных органов и правительственных чиновников были еще и другие причины внутреннего порядка, оттолкнувшие зрителей от нового театра и расхолодившие его актеров.

Руководимый и направляемый дельцами-предпринимателями, частный Общедоступный театр пытался своей деятельностью служить одновременно двум богам: подчеркивая всюду свою «демократичность», антрепренеры заигрывали с народным зрителем и в то же время стремились не упустить и публику буржуазную, «кассовую».

Начав с резкого повышения цен на билеты и уничтожения специальных дешевых мест для народа, Урусов и Ташеев вскоре должны были круто повернуть и направление своего репертуара. Если вначале еще ставились такие спектакли, как «Гроза» и «Горькая судьбина» со Стрепетовой и Писаревым, как «Женитьба», «Ревизор» и «Лес»\* с Рыбаковым, то очень скоро в афиши театра начинает все чаще и чаще проникать всевозможная буржуазная макулатура, обычная для театров того времени.

Подводя итог этому первому сезону Общедоступного театра, газета «Русские ведомости» писала: «...заговорив об Общедоступном театре, не можем не сказать вскользь, что дело это, на первых порах заинтересовавшее всех, как первая попытка освобождения русской сцены из-под гнетущей монополии казенных театров, ведется так небрежно, так неумело, с таким полнейшим, таким равнодушным незнанием дела, что восстановило против себя положительно всех сколько-нибудь серьезно относящихся к театральному искусству. Русский театр... переживает в настоящее время такую критическую минуту своего существования, что грешно неудачными попытками, двигателем которых служит один только чисто коммерческий расчет, тормозить серьезное, всем нам равно близкое и дорогое дело освобождения русского искусства. В наш коммерческий, предприимчивый век есть столько удобных способов наживы, столько более верных и надежных

\* Роль Несчастливцева — последняя, значительная роль Рыбакова — была впервые исполнена им на сцене Общедоступного театра в бенефис артиста — 18 июля 1873 года.

афер, что прибегать к эксплуатации народной любви к театру и стыдно и грешно. При том же, в деле искусства эксплуатация менее возможна и менее надежна, нежели где бы то ни было, потому что здесь публика, движимая единственно своим эстетическим чувством, дается в обман несравненно труднее, и притом на самое короткое время. Как ни уверяй ее, какими названиями театра ни старайся ее увлечь и завлечь, она всегда оценит, что хорошо и что дурно, поймет, что делается для нее и что для собственного своего кармана, и всегда враждебно отнесется к дискредитированному в глазах ее делу. И тут не помогут уже никакие уловки, что ясно сказалось на Общедоступном театре гг. Танеева и кн. Урусова.

Напрасно они, раз поведя дело свое ложным путем, старались поправить его всевозможными уступками и угождениями; напрасно они давали и продолжают давать именно такие, где есть и русские костюмы, и русские захватские песни, и русская пляска вприрядку, напрасно неумелыми руками стараются они затронуть в русском сердце наиболее чувствительные струны — ничего не берет, *rien ne va plus*, как говорят игроки рулетки, публика не верит в успех дела, и дело неловких антрепренеров падает, компрометируя в своем падении первую пробу свободного театра.

Постановка на сцене Общедоступного театра балета «Мельники» без танцев, «Филатки и Мирошки» и «Двумужницы» кн. Шаховского при той обстановке, при которой прошла эта последняя пьеса, были последними, крайними пределами того, до чего может дойти бесцеремонное отношение к искусству; далее этого, несмотря даже на желание свое, гг. антрепренерам Общедоступного театра пойти не удастся, потому что это именно тот *point culminant* \*, на котором театральные зрелища прямо переходят в балаганные представления...

Потеряв доверие публики, почти без сборов, без надежд на дальнейшее продолжение своего существования, Общедоступный театр кое-как, бесславно дотянул до конца свой первый сезон.

Актеры театра, немало потрудившиеся, чтобы своей игрой хоть как-то оправдать беспринципную затею антрепренеров, с тяжелым чувством вынуждены были приниматься за новые и тщетные поиски «выгодного» ангажемента.

Расставшись с Общедоступным театром, вновь остался без работы и Н. Х. Рыбаков. Как и много раз прежде, на помощь ему пришел его давний друг и друг всех лучших русских актеров — драматург А. Н. Островский. Еще в 1866 году Островским, совместно с видным музыкальным деятелем Н. Г. Рубинштейном и критиком В. Ф. Одоевским, был создан так называемый Артистический кружок — общест-

\* Кульминационная точка (франц.).

венная и художественная организация, ставившая своей целью взаимное сближение представителей передовых литературных и художественных кругов России: писателей, артистов, музыкантов, художников.

Островский принимал непосредственное и деятельное участие в организационной и творческой жизни кружка и он же был инициатором возникшего при кружке своеобразного полупрофессионального, полулюбительского театра. Об этом театре Островский еще при его создании писал, что он призван доставить средства артистам «как известным, так и начинающим заявлять себя перед публикою; кроме того, артистам начинающим дает возможность развиваться и совершенствоваться под руководством артистов опытных, а бедным, не имеющим определенного содержания или получающим незначительное жалование, дает средства зарабатывать себе значительную материальную поддержку...». «Таким образом,— заключает Островский,— Артистический кружок, являясь посредствующим звеном между обществом и артистами, приносит пользу нравственную и материальную».

Созданный Островским театр при Артистическом кружке не был, однако, только благотворительной организацией, призванной дать пристанище, материальные средства и сценическую практику нуждающимся актерам. Несмотря на текучесть своего состава и наличие в нем помимо профессиональных актеров также и актеров-любителей, труппа Артистического кружка была настоящим творческим коллективом, имеющим свою художественную программу и свою репертуарную линию.

Для уяснения характера этого репертуара и творческого лица театра достаточно напомнить, что и то и другое паправлялось и определялось руководящей мыслью такого замечательного знатока сцены, каким был А. Н. Островский.

Характеризуя этот своеобразный, полупрофессиональный театр, один из членов Артистического кружка, П. А. Россиев, писал: «...в смысле ставки талантов старый друг — Артистический кружок — был выгоднее Общедоступного театра: у него было некоторое духовное родство с Малым театром; в его стенах издавна собирались провинциальные актеры и производили смотр артистам на так называемых генеральных репетициях, а в сущности, плохо замаскированных спектаклях. Да и репертуар Артистического кружка отличался таким простором, какого не дают актеру-мыслителю, актеру-ваятелю, актеру-художнику ни феерия, ни мелодрама».

И, характеризуя этот репертуарный курс кружка, тот же Россиев писал: «По репертуару кружок примыкал к Малому театру, да и то не всецело, так как близость и влияние Островского решали выбор пьес для сцены Артистического кружка. «Старик» не скрывал своего не-

расположения к иностранным драматургам, доказывал, что и Шекспир и Шиллер — роскошь, которую поэтому надо позволять себе реже, и старался всеми силами содействовать успеху отечественных писателей для сцены, в особенности — молодых».

В этом кружке, в числе почетных членов которого находились помимо Островского писатели И. С. Тургенев и М. Е. Салтыков-Щедрин, играли в разное время под руководством А. Н. Островского артисты Малого театра — П. М. Садовский, С. В. Шумский, И. В. Самарин, Е. Н. Васильева, Н. А. Никулина, С. П. Акимова и другие, крупнейшие провинциальные актеры — П. А. Стрепетова, М. И. Писарев, К. Ф. Берг, В. А. Макшеев, и, наконец, в Артистический кружок по приглашению его основателя вступил летом 1873 года после ухода из Общедоступного театра и Н. Х. Рыбаков, принявший в Артистическом кружке (ввиду его полупрофессионального характера) псевдоним Волгин.

Общение с Островским и рядом передовых деятелей русского искусства, работа над лучшими пьесами русского и западноевропейского классического и русского современного репертуара — все это не могло не принести творческого удовлетворения старому мастеру.

«Знаменитый прообраз Несчастливцева, «представитель русской вольной сцены», он с удовольствием окупился в любимый им репертуар Островского, преобладавший в кружке, и в продолжение сезона 1873/74 года и в последующие он дал несколько ярких типов», — писал Россиев в своих воспоминаниях об Артистическом кружке.

Здесь же, на сцене Артистического кружка, произошла и первая встреча Рыбакова с двумя близкими ему по своему направлению молодыми начинающими актерами: Михайлом Провычем Садовским и его женой Ольгой Осиповной — продолжателями славной артистической династии, основоположником которой был отец Михаила Провыча, великий артист, современник и единомышленник Рыбакова — Пров Михайлович Садовский.

Искренно чтя замечательный талант Прова Михайловича, Рыбаков после его смерти перенес свое дружеское расположение и участие на его сына и невестку, начинавших сценическое поприще в Артистическом кружке.

И тем не менее уже в следующем году, когда Общедоступный театр, закрытый на полгода по приказу министерства двора, должен был вновь открываться в Москве, Рыбаков после больших колебаний решил уйти из Артистического кружка и возобновить свой контракт с Урусовым и Танеевым. Этот шаг артиста был расценен некоторыми из руководителей кружка как измена со стороны Рыбакова их общему делу. Так, 8 сентября 1874 года один из руководителей кружка, М. Цуханов, с большим раздражением писал А. Н. Островскому: «Пер-

вым нашим «другом»... оказался Общедоступный театр. Переманив от нас разную мелюзгу, вроде Рыжова, он теперь принимается за самого Николая Хрисанфовича Рыбакова. Это дело, заглухнувшее было совсем, всплывает наверно...

...Почтеннейший старик надеется, что мы разрешим ему нарушить контракт (сам он первый нарушить не решается). Я велел сказать ему, что такого согласия мы, разумеется, не дадим ему, что стыдно ему бросать камнем в то учреждение, которое в прошлом году, когда ему есть нечего было, выручило его из беды...»

Нам неизвестен ответ Островского на это письмо, но, судя по тому что Рыбакову все же было разрешено нарушить контракт, Островский подошел к просьбе старого артиста совершенно иначе, чем Цуханов. Об этом же говорило и то, что искренне болевший за судьбы созданной им организации Островский и после ухода Рыбакова из кружка сохранял с артистом самые прекрасные, полные глубокого взаимного уважения отношения.

Очевидно, Островский понял то, чего не мог понять Цуханов, — что Рыбаковым в его решении уйти из кружка двигали не корысть и неблагодарность, а действительно серьезные и глубокие мотивы.

Его, как последовательного профессионала в искусстве, угнетало неизменное участие в спектаклях кружка группы любителей-дилетантов, полупрофессиональный характер этой организации. Полупрофессионализм кружка сказывался также и в том, что представления шли там не каждый день и не регулярно.

Но что, бесспорно, должно было особенно тяготить артиста, привыкшего к широкому кругу зрителей, к бурной реакции зрительного зала, так это камерность Артистического кружка, однообразие и ограниченность его публики, состоявшей главным образом лишь из представителей избранного круга московской интеллигенции.

Рыбаков был подлинно народным художником, всю жизнь стремившимся служить своим искусством не избранным любителям, а широкой народной аудитории. Этой широты и размаха творческой деятельности как раз и не мог ему дать при всей своей культурности театр при Артистическом кружке.

Уйдя из него вследствие всех этих глубоких и веских причин, Рыбаков должен был вновь остановиться перед неосуществимостью своих стремлений в условиях гнета и произвола пореформенной царской России.

Последующие сезоны Общедоступного театра, в котором еще в течение двух лет играл Рыбаков, были ознаменованы дальнейшим и неотвратимым его падением — падением идейным и падением художественным. Все реже появлялись на его афише названия правдивых пьес лучших русских писателей, и, наконец, сцена театра была уже

полностью отдана во власть бездарной, переводной и подражательной макулатуры, рассчитанной на выколачивание денег из кармана разбогатевшего и самодовольного буржуазного зрителя. Эпитеты «народный», «общедоступный», употреблявшиеся первое время на каждом шагу содержателями театра, теперь или совсем не произносились, или стали смешным и ненужным анахронизмом.

Полновластным хозяином в Общедоступном театре стала та категория зрителей, убийственную характеристику которой дал в 1881 году Островский: «Отцы и деды этого поколения,— писал драматург — разбогатели в то время, когда образование купечества считалось не только лишним, но и неприличным и даже вольнодумством... Дети получили в наследство вместе с миллионами некультуривированный мозг, еще неспособный к быстрому пониманию отвлеченностей, и такое воспитание, при котором умственная лень и льготы от труда, дисциплины и всякого рода обязанностей считались благополучием. Явилось поколение вялое умственно и нравственно. Когда умерли отцы, дети поспешили внешним образом сблизиться с Европой, т. е. переняли там платье... некоторые привычки и обычаи...

...Русское они презирают, а иностранного не понимают; русское для них низко, а иностранное высоко; и вот они, растерянные и испуганные, висят между тем и другим, постоянно озираясь, чтоб не отстать одному от другого, а всем вместе — от Европы относительно прически, костюма, экипажа и т. п. Нет ничего бесплоднее для поступательного движения искусства, как эта по-европейски одетая публика, не понимающая ни достоинств исполнения, ни достоинств пьесы и не знающая, как отнестись к тому и другому. В этой публике нет общественного понимания, нет восприимчивости, нет движения, нет общности между ней и пьесой. Пьеса идет как перед пустой залой. Она чувствует по указаниям и заявляет свои восторги произведениям и талантам только рекомендованным. Все сильное или неожиданное на сцене производит в этих зрителях что-то вроде беспокойства; им делается неловко, они не знают, как поступить с своими чувствами, и боятся, как бы не ошибиться; тут, за неимением в театре серьезных людей, они устремляют полные ожидания взоры на какого-нибудь фельетониста, не выручит ли он. Чему эта публика самостоятельно горячо сочувствует, так это пошлым намекам и остроумию самого низкого сорта. Но особенный, неудержимый восторг возбуждают в этой публике куплеты: про скорую езду по улицам, про микстуры, которыми доктора морят пациентов, про кассиров банковых, про адвокатов. Такой куплет непременно заставят повторить раз десять и вызовут актера, который его пел, и автора. Эта публика понижает искусство, во-первых, тем, что не понимает действительных достоинств произведений и исполнения, и, во-вторых, тем, что предъявляет свои

неэстетические требования. Она испортила русский репертуар; писатели стали применяться к ее вкусу и наводнили репертуар пьесами, которые для свежих людей никакого значения не имеют».

Стремление во что бы то ни стало угодить этой пошлой буржуазной публике оказалось роковым для Общедоступного театра.

Очень верное описание его трехлетнего бесславного пути дал в 1876 году в обзоре «Московский заметки» корреспондент петербургской газеты «Голос». Он указывает, что вначале Общедоступный театр «был театром народным, в настоящем смысле этого слова\*. Значение театра для народа... старались сохранить за ним на первое время и гг. Танеев и Урусов... но, убедившись, что нужно озаботиться и тою публикой, которая сидит не в «парадизе», а в партере и ложах, директора варварского\*\* театра взяли за «обыкновенный» репертуар, конкурируя с императорскою сценой приезжими знаменитостями и лучшими представителями местных любителей драматического искусства... Потом ненадолго мелькнула феерия «Убийство Коверлей» и «80 дней вокруг света» сделали сборы баснословные; но дальнейшие попытки под пестрым домино феерий угощать публику самыми заурядными мелодрамами кончились плачевно — театр опустел... Не вывез дирекцию и «Христофор Колумб» с королевой Гаити верхом на страусе и «русским Блондэном», Егором Васильевым, отхватывающим на канате какую-то индо-русскую пляску...

В настоящее время варварский театр обещает превратиться в театр-буфф: на очереди «Le petit Faust»,\*\*\* «Barbe Bleue»\*\*\*\* и другие оперетки Оффенбаха, Эрве и братьев».

Ощущение глубокой тоски и неудовлетворенности охватывало Рыбакова, бежавшего когда-то из Харьковского театра из-за постыдных для него ролей в «Синей Бороде» и «Богатырях» и вынужденного на закате своей жизни вновь выступать в тех же пьесах с канканом и шансонеткой.

Можно ли после этого обвинять артиста, всегда добросовестно относившегося к пьесам, в которых ему приходилось выступать, что, играя маленькую роль в первом акте глупейшей уголовно-детективной переводной мелодрамы «Убийство Коверлей», он даже не трудился выучить как следует текст своей роли. Артиста все чаще и сильнее охватывало чувство стыда и унижения за то искусство, которому он так рыцарски самоотверженно служил в течение пятидесяти лет своей жизни и которое теперь так беззастенчиво попиралось.

\* Имеется в виду Народный театр на Политехнической выставке 1872 года.

\*\* Общедоступный театр помещался в Москве на Варварской площади.

\*\*\* «Маленький Фауст» (франц.).

\*\*\*\* «Синяя Борода» (франц.).



В 1875 году, в целях выколачивания денег и поднятия еще большего шума и рекламы вокруг окончательно дискредитировавшего себя дела, Танеев задумал повести труппу Общедоступного театра в Париж. Это была типичная буржуазная афера, предприятие, основанное на том самом «внешнем сближении с Европой», о котором с презрением и негодованием отзывался Островский.

Включением в репертуар театра единственного спектакля — «Русская свадьба в исходе XVII столетия — драматическое представление из частной жизни наших предков, сочинение П. А. Сухонина» — Танеев стремился угодить парижанам «экзотичностью» псевдорусских обрядов, сусальной подделкой под русский быт и русские «нравы».

Насколько «исторически точным и достоверным» был этот «этнографический» спектакль, можно судить хотя бы уже по тому, что, по свидетельству В. И. Давыдова, один из исполнителей, Форкатти, в «Русской свадьбе» в костюме боярина откальвал канкан.

«Дальше, как говорится, ехать некуда!» — резюмировал свое отношение к этой затее Давыдов.

Рыбаков понял, что его путь и путь Общедоступного театра разошлись раз и навсегда. В последние месяцы пребывания на сцене Общедоступного театра артиста удерживало здесь только одно — желание отпраздновать свой пятидесятилетний юбилей сценической деятельности в Москве — в театральном и художественном центре России, в кругу самых близких ему друзей и единомышленников, вместе с Островским, со своими друзьями из Малого театра, с представителями литературной и театральной общественности.

Юбилей и чествование Рыбакова состоялось 11 мая 1876 года, и надо сказать, что и Островский и близкая ему прогрессивно настроенная часть русской интеллигенции, заполнившая в тот вечер зрительный зал Общедоступного театра, достойно отметили этот славный день в истории русской сцены. Торжество началось юбилейным спектаклем. Шел «Лес» Островского, в котором главную роль — Несчастливцева, — как всегда, исполнял Н. Х. Рыбаков.

С огромным внутренним подъемом, «молодо и свежо, то есть богато по краскам, богато по чувству» (как выразился один из современных рецензентов) играл он в этот вечер свою любимую роль. Исповедью собственной души артиста, горячей, страстно любящей и страстно ненавидящей души, звучали пламенные монологи его сценического двойника — русского актера Несчастливцева. Театральное предание гласит, что в тот момент, когда текст роли дошел до знаменитых слов о «самом Николае Хрисанфыче Рыбакове», артист на минуту замялся, как бы в нерешительности — произносить ли ему слово Островского или заменить в них свое имя (как он до того делал обычно) именем трагика Корнелия Полтавцева. И тогда из ложки ди-

рекции вдруг раздался тихий, но внятный голос драматурга: «Играй по тексту». В этот день Рыбаков впервые сам произнес со сцены принадлежавшие ему по праву слова Несчастливцева.

«При этом упоминании собственного имени голос старика Рыбакова задрожал и перешел в шепот, и он едва-едва мог удержаться от нервных слез, тем более что он знал и видел, что в ложе, с правой стороны, сидит сам Александр Николаевич Островский», — вспоминал юбилейный спектакль «Леса» журналист Захарьин (Якунин). И другой очевидец как бы добавляет: «Театр полон... Встреча — сплошная овация. Наконец: «Последний раз в Лебедяни играл я Велизария. Сам Николай Христанфыч Рыбаков смотрел...». Взрыв аплодисментов. И это был триумф невиданный».

Долгими, несмолкающими аплодисментами наградили многочисленные зрители того, кто так честно и так свято в течение пятидесяти лет, не выпуская, нес незапятнанным знамя великого русского искусства...

И была еще одна причина, делавшая для Рыбакова особенно знаменательным и памятным этот день. В юбилейном спектакле «Лес» в роли гимназиста Буланова выступил его сын — Константин Николаевич, а тогда еще просто Костя Рыбаков.

Юбилейный спектакль «Леса» принес Рыбакову радостное сознание, что его дело переходит в надежные руки, что в сыне старый актер нашел верного ученика и продолжателя.

После спектакля началось чествование ветерана русской сцены. Много горячих, искренних речей, слов благодарности и восхищения услышал в тот вечер Рыбаков от своих друзей — актеров и зрителей. Но из всех этих выступлений и приветствий три приветствия были для него самыми дорогими, самыми почетными и самыми незабываемыми.

Первое — это венок и адрес от актеров старейшего и славнейшего русского театра — Малого театра.

«Многоуважаемый Николай Христанфывич! — обращались к юбиляру артисты Малого театра. — Артисты русской драматической труппы императорских Московских театров имеют честь принести Вам свои поздравления в день празднования пятидесятилетней годовщины Вашей талантливой, знаменитой и многотрудной деятельности на поприще искусства, причем присовокупляют общее сердечное пожелание, чтобы Ваше славное имя многие и многие годы украшало собою русскую сцену».

Адрес подписали 36 актеров Малого театра, среди которых мы встречаем таких его корифеев, как Самарин, Шумский, Медведева, Музиль, Музиль-Бороздина, Рыкалова, Решимова, Федотова, Ермолова, Никулина, Берг и другие.

Не многие из русских провинциальных актеров удостоивались высокой чести получить поздравление и признание труппы лучшего русского театра. Это признание говорило о том, что в лице Рыбакова актеры Малого театра видели своего творческого союзника и единомышленника в общей борьбе за торжество сценического реализма.

Второе взволновавшее артиста приветствие было от его старых друзей — провинциальных актеров, поднесших ему венок и адрес. Долголетние товарищи по сцене обращались к Рыбакову как к своему старшему и почтенному собрату, видели в его празднике праздник всего русского провинциального актерства.

Вот что было написано в этом адресе:

«Николай Хрисанфович!

Настоящее празднование пятидесятилетней Вашей артистической деятельности особенно дорого для нас — Ваших товарищей. Ваш юбилей, заслуженный Вами как артистом, для нас наше торжество!

Мы, провинциальные артисты, имеем счастье на подмостках единственного и первого частного театра столицы Москвы в первый раз чувствовать в лице Вашем одного из представителей нашей русской вольной сцены. Таким образом, этот день — день празднования Вашей пятидесятилетней деятельности, проведенной среди трудов и лишений, так хорошо знакомых нам всем по опыту, — напоминает нам обязанности, возложенные на нас свободным служением драматическому искусству и вселяет в нас твердую надежду на лучшие условия для нашей артистической деятельности в недалеком будущем.

Примите же от нас, Николай Хрисанфович, этот венок, как слабое выражение нашего глубокого уважения к Вам и Вашей деятельности и в воспоминание о тех высоких чувствах, которыми мы воодушевлены в этот день, чувствуя Вас, как артиста — нашего сотоварища».

И последним вышел с приветственным словом А. Н. Островский, пьесы которого открыли Рыбакову истинное назначение его таланта и который в прошлом не раз поддерживал артиста своим теплым, дружеским участием и советом.

Это приветствие А. Н. Островского было для юбиляра самым волнующим и глубже всего запавшим в душу.

Обращаясь к артисту от Общества драматических писателей и поднося ему ценный подарок от членов этого общества и от себя лично, великий драматург произнес уже приводившиеся в начале этой работы проникновенные, прочувствованные слова о том, что имя Рыбакова навеки сохранится в истории русского театра, «ибо славен и достоин почестей не тот, кто их достиг, а тот, кто их достоин. ...Ваше же полувековое самоотверженное служение русскому театру навеки сохранит Вашему имени признательную память потомства».

С этими словами драматург, по старинному русскому обычаю, поклонился в пояс артисту, являвшемуся для него и всей демократической театральной общественности символом всего лучшего и честного, что хранила в своих глубоких недрах так много сделавшая для русского просвещения передовая часть старой театральной провинции.

«Об этом чествовании не раз вспоминал Николай Хрисанфович, и, видимо, оно сильно запечатлелось в его душе», — писал встретившийся с артистом через несколько недель после юбилея А. Плещеев и добавлял: «Действительно, московское чествование Рыбакова было редким по единодушному отношению к нему и литературы и театральных собратьев. Рыбакову, оставшемуся всю жизнь провинциальным скитальцем, несмотря на его огромный талант, было дорого, что его чествовала именно Москва. Рыбаковский юбилей был в то же время праздником русского провинциального актерства, сознававшего, что Николай Хрисанфович — старший его товарищ, что и без казенной сцены, куда немногим удавалось тогда проникать, можно составить себе истинным талантом имя и славу».

Все те, кому дороги были судьбы русской культуры и русского театра, кто видел в Рыбакове подлинного служителя интересам народа, приняли живое и непосредственное участие в его юбилейном чествовании. И только театральными властями это событие в жизни русского провинциального театра никак не было отмечено, никто из власть имущих не пожелал прийти в тот же вечер на торжество артиста-«плебей».

После своего чествования Рыбаков немедленно расстается с давно ставшим ему чужим Общедоступным театром, но и сейчас, когда громкая слава артиста стала достоянием не одной провинции, а также полюбившей и признавшей его талант Москвы, Контора императорских театров снова, как и прежде, не торопится с приглашением его на сцену Малого театра.

Проблема ангажемента снова стоит перед уставшим от поисков «настоящего дела» старым актером.

На летний сезон Рыбаков находит пристанище в так называемом Павловском театре, организованном бывшим режиссером театра на Политехнической выставке А. Ф. Федотовым.

В этом театре Николай Хрисанфович играл с 18 мая по 1 сентября. Вместе с ним в Павловском театре играл его сын Константин.

Организованный в 1876 году летний Павловский театр не ввел новых лавров в творческую биографию его создателя — А. Ф. Федотова. Уже во время Политехнической выставки Федотов испытал жестокое разочарование в осуществимости своих широких планов по организации Народного театра. В дальнейшем, окупчательно убедившись

в противодействии со стороны властей любой попытке реформировать русскую сцену, Федотов решил основать в Павловске (в аристократическом петербургском пригороде) свой частный театр. На этот раз Федотов уже не ставил перед собой тех больших общественных и воспитательных задач, какие волновали его в период основания Народного театра. Новый театр был театром коммерческим. Но все же и в нем Федотов, как истинный художник, не мог не попытаться сохранить хотя бы часть тех творческих завоеваний, каких ему удалось добиться в короткий период руководства Народным театром. С этой целью Федотов вновь собрал в свою труппу лучших актеров провинции: Рыбакова с сыном, Сазонова, Киселевского, Иванова-Козельского, Лелеву, привлек на летний сезон свою жену Г. Н. Федотову, замечательную молодую артистку Московского Малого театра. С этой же целью он, как и прежде, включил в репертуар театра пьесы А. Н. Островского, И. С. Тургенева и других выдающихся русских драматургов. Сам Федотов в постановках, осуществленных им в Павловском театре, вновь раскрыл свой незаурядный талант постановщика и режиссера. Уже через месяц после открытия этого театра, 15 июня 1876 года, петербургская газета «Голос» писала: «В режиссерском отношении Павловский театр до сих пор не оставляет желать ничего лучшего: артисты всегда твердо знают свои роли, разыгрываются пьесы с примерным ансамблем, без шероховатостей; *mise-en scène*, декорации, костюмы более чем приличны и в некоторых пьесах («Каширская старина», «Своя семья») археологически верны. Вообще, что касается постановки пьес, то нельзя не пожелать, чтоб гг. режиссеры Александринского театра поучились этому делу, почаще присутствуя на представлениях павловской сцены».

И все же, как ни старался Федотов придать постановкам своего театра серьезность и культурность тона, а исполнителям — цельность и единство ансамбля, осуществить свое намерение ему в полной мере не удалось.

Слишком уж не соответствовали этой задаче фланирующий аристократический и буржуазный зритель, посещавший Павловский театр, и та коммерческая цель, которую на этот раз преследовал сам Федотов\*.

То же самое, что произошло под влиянием буржуазного зрителя с Общедоступным театром, теперь произошло и с Павловским театром Федотова. Ищущий бездумных и пошлых развлечений петербургский зритель поставил режиссера и основателя театра перед необходимостью идти на все новые и новые художественные компромиссы. Под

\* Этой своей цели Федотов так и не достиг. В первый же сезон театр принес ему 40 тыс. руб. убытка.

непосредственной угрозой финансового краха он вынужден был привлечь в труппу «модных» гастролеров, среди которых наряду с действительно крупным, хотя и холодным петербургским актером В. В. Самойловым была и приглашенная специально для любителей «легкого» и «пикантного» зрелища парижская «звезда» — трагиста и опереточная дива — мадам Селинь-Шомон...

Постепенно из театра-ансамбля, каким он был задуман Федотовым вначале, Павловский театр превратился в театр премьер-гастролера, для которого выбирались и ставились пьесы и в угоду которому приносились интересы всего театра в целом. Не удивительно, что при такой постановке дела остались незамеченными и потерянными многие из служивших в Павловском театре талантливых актеров и актрис и в их числе и крупнейший из них — Н. Х. Рыбаков.

Пресса, писавшая о театре, также занималась одними гастролерами, презрительно не замечая всех остальных больших и малых актеров труппы. Замолчала петербургская пресса и ряд превосходных комедийных и бытовых образов, созданных в Павловском театре игравшим там в течение всего сезона Рыбаковым.

При самом тщательном просмотре петербургских газет за период деятельности Павловского театра нам лишь в одной, в газете «Голос» за 15 июня 1876 года, удалось обнаружить беглое упоминание имени артиста. «Мужской персонал труппы, — писала газета, — довольно слаб и, за исключением г. Федотова, создавшего мастерский тип из роли Тихона в «Грозе», и, пожалуй, престарелого г. Рыбакова, да еще г. Киселевского, все остальные артисты не особенно выделяются талантами».

Ничего не значащей снисходительной отпиской газета решила заменить разбор ряда интереснейших работ Рыбакова в Павловском театре, работ, упоминание о которых мы встречаем лишь в статьях и воспоминаниях, появившихся уже после его смерти. Так, А. Плещеев, встретившийся с Рыбаковым в Павловске впервые и ожидавший найти в его лице типичного «трагика» старых времен, вспоминал через много лет после смерти артиста о совершенно неожиданном впечатлении, какое тот произвел на него.

«Как это ни странно, — писал он в своих воспоминаниях, — по знаменитый трагик выступал в Павловске в ролях комического характера и имел в них огромный успех. У Рыбакова оказался замечательный комический талант: в «Завтраке у предводителя» Тургенева, где он давал удивительную фигуру помещика Алупкина, Рыбаков был бесподобен... В этот приезд в Петербург Николай Хрисанфович не появился в своих прежних драматических ролях».

С высокой похвалой отзывался о тех же ролях и видевший Рыбакова в Павловске С. Турбин.

Московская «Театральная газета», напечатавшая после кончины Рыбакова посвященный ему некролог, отмечала это пренебрежение столичной прессы к последним ролям знаменитого провинциального артиста. «Нынешним летом,— сообщала «Театральная газета»,— Рыбаков жил в Павловске и играл в труппе Федотова. Петербургская критика не отнеслась к актеру-ветерану с вниманием и упускала его старые заслуги; это отношение критики постоянно раздражало Рыбакова, и он не раз говорил, что «нога моя в Петербурге отныне не будет, здесь меня не любят, это не Москва!». Петербург Николай Хрисанфович вообще недолюбливал, и раз, когда г. Сазонов \* спросил у него, что скверного в Петербурге, он отвечал: «Гостеприимства нет: в Петербурге всех людей переделывают! Вот Павел Васильевич уехал к ним, погостил год и теперь узнать нельзя — явился переделанным».

В этой обиде на Петербург было много характерного и типичного для Рыбакова, еще раз указывающего нам на демократическую основу его творчества. Слишком различны и непримиримы были общественные и эстетические идеалы «европеизированной», чиновно-аристократической и буржуазной петербургской публики и «народного артиста», беспощадного разоблачителя «темного царства» Н. Х. Рыбакова.

Могли ли проявить «гостеприимство» по отношению к актеру-реалисту, соратнику Островского те самые зрители, которые восторженно аплодировали канкану мадам Селинь-Шомон или дружно вызывали блестящего, но холодного Василия Самойлова!

Ведь даже в замечательной реалистической актрисе Г. Н. Федотовой, гастролировавшей в Павловском театре, они искали и видели лишь виртуозную комедийную актрису и эффектную и изящную молодую женщину, с блеском исполнявшую всевозможные салонные пустячки, и презрительно морщились, когда эта актриса раскрывала свое огромное трагедийное дарование в Катерине из «Грозы» Островского.

Обстановка, сложившаяся в Павловске, все более и более разочаровывала Рыбакова. В его письмах к жене из Павловска, мы находим жалобы и на то, что он мало занят в репертуаре театра, и на то, что сын Константин, пользовавшийся огромным успехом у публики, «за которым вся труппа и Федотов ухаживают», получает «роли не особенные, а просто любовников, потому, что пьесы ставились для Федотовой, где видные ее роли, а впоследствии для Самойлова». Очень резко отзывается Рыбаков об основном составе зрителей Павловского

\* Н. Ф. Сазонов — артист Александрийского театра, А. Ф. Сазонов — его брат, рецензент и содержатель Ораниенбаумского театра. Кого из двух братьев имеет в виду автор некролога, неизвестно.

театра. Здесь, пишет он, «живет аристократия, [...] а аристократы-то не очень бросают деньги, а требуют многого». Возвращаясь к характеристике павловского зрителя, Рыбаков пишет в другом письме: «Здесь аристократы, но дураки ужасные. Вот тебе пример: на гулянии сходятся два семейства и спрашивают друг друга, будут ли они в театре. Генерал спрашивает, а что будут играть, ему отвечают: «Бедность, не порок». А, да! — заявляет генерал, — это лучшее произведение Гоголя, — и начал рассказывать, сюжет черт знает из какой пьесы».

Неудовлетворительными оказались в Павловске и материальные условия жизни Рыбаковых.

Организацией летнего Павловского театра Федотов ставил себе в основном коммерческую цель. Но расчеты антрепренера не оправдались. Ввиду плохих сборов пришлось произвести снижение окладов. «Мы получаем с Костей, — пишет Рыбаков жене 2 июня, — 200 р. в месяц, из коих 100 р. в месяц надо отдавать петербургскому портному и на 100 р. нам жить. [...] Значит, я тебе ничего не могу выслать до августа, и это самое приводит меня в совершенное отчаяние [...] ради бога заложки билеты и все мои подарки и постарайся прожить».

Уже в июне месяце Рыбаков вместе с сыном заключили контракт на зимний сезон с антрепренером Тамбовского театра Ознабишиным. Отвечая на упрек жены в том, что он поторопился связаться с Тамбовом, Николай Хрисанфович писал, что другого выхода у него не было, так как «на Народный театр в Москве в нынешнем году нечего рассчитывать. Танеев остался один, он запутался в долгах, жалованье по три месяца не платят, и порядочные актеры все бегут от него, [...] другого же места, кроме Тамбова, в виду не было, ну я, чтобы не остаться как рак на мели, и сделал условие».

Один из знакомых артиста, псевстречавший его в Петербурге за несколько дней до отъезда, рассказывает, в каком тяжелом моральном состоянии, с какими гнетущими предчувствиями готовился Рыбаков в дорогу.

«Еду в Тамбов, — говорил артист, — а ты знаешь ли, что такое по-французски — *tombe*? — Могила! Верно, уж это будет мое последнее путешествие...».

1 сентября Рыбаковы оставили Павловск. Пробыв проездом в Тамбов два дня в Москве, Николай Хрисанфович окончательно утвердился в том, что другого выхода, кроме поездки в провинцию, у него не было. 9 сентября он пишет жене, что «дела Народного театра скверны, по четыре месяца жалованья не получают и труппа вся почти разошлась».

Неприветливо встретила в этот приезд Рыбакова и провинция. Антрепренер еле сводил концы с концами, актеры приупыли и пачали



разъезжаться из города. А между тем в составе труппы были талантливый, образованный режиссер А. П. Грубин и способный и дружный коллектив актеров, в числе которых находился молодой, только что вступавший на театральное поприще В. Н. Давыдов. Этому замечательному артисту мы обязаны самыми искренними и самыми достоверными воспоминаниями о Рыбакове. Всего лишь несколько последних месяцев жизни Рыбакова прошли на глазах у Давыдова, еще только начала расцветать их сердечная дружба — старого, умудренного мастера и талантливого и восприимчивого ученика, но и этой краткой их встрече мы обязаны тем, что многое важное и ценное из облика Рыбакова не пропало для нас без следа.

Давыдов рассказывает, как Рыбаков, сам потерпевший жестокое разочарование во многих больших своих надеждах и планах, встречая уныние и тоску у своих товарищей, сумел объединить вокруг себя всю труппу, увлечь ее и тем самым спасти, казалось, окончательно дававшее дело.

Однажды во время спектакля с участием Давыдова Рыбаков, по обыкновению, грузно опираясь на палку, спустился в партер и сел в кресло, чтобы полюбоваться заразительно веселой игрой своего ученика.

Но вместо сценки «В театрах и на свадьбе», с которой Давыдов должен был начать свое выступление, молодой артист внезапно обратился к публике с горячими словами любви и благодарности старому мастеру, так много потрудившемуся для русского искусства.

«Сегодняшнее мое выступление я начну не сценой «В театрах и на свадьбе», — сказал Давыдов, — а обращением к публике, обращением артиста, сердце которого сейчас не может молчать, ибо оно должно разорваться на части, если не поделится тем счастьем, которое оно переживает... Полвека русскую сцену украшает великий талант художника и не менее великое сердце человека, которые для русского артиста горят путеводной звездой в искусстве. Вся Русь в лице Москвы только что отпраздновала великий праздник славной годовщины. Пусть же и Тамбов приветствует гениального артиста, славное имя которого — Рыбаков!»

Окончив, Давыдов до земли поклонился со сцены в сторону Рыбакова.

«Словно бомба разорвалась в театре! — вспоминал через много лет этот день Давыдов. — Такое впечатление произвело на всех мое слово, сказанное с искренним, громадным подъемом. Сам Рыбаков разволновался до крайности. Публика его окружила и повела на сцену. Все актеры выбежали из уборных, и неожиданное приветствие мое вылилось в самое задушевное чествование заслуг великого, заслуженного артиста русской сцены».

«— Дай бог, чтобы и ваш закат совершился при великой любви и благодарном признании. Для артиста это все! Вы этого стоите. У вас и талант и доброе сердце!» — ответил Рыбаков, горячо обняв и расцеловав Давыдова.

Стихийно возникшее в Тамбове чествование артиста принесло ему чувство глубокого удовлетворения. Подобно тому как это было во время его юбилея в Москве, Рыбаков вновь, еще более остро, ощутил, что дело его жизни не прошло даром, что его большое, искреннее искусство, та правда, которую он нес со сцены, нужны народу, нужны зрителям, нужны и его товарищам-актерам.

Между тем, как рассказывает В. Н. Давыдов, здоровье Рыбакова «сильно пошатнулось. Больших ролей он избегал и от чарки вина отказывался, пробавляясь чайком с вареньем. В хорошие минуты любил вспоминать Мочалова, под влиянием которого он пошел в актеры...».

Незадолго до смерти Рыбаков стал сильно занемогать, но от выступлений не отказывался.

6 ноября Рыбаков писал дочери Марии Николаевне: «Климат в Тамбове убийственный, болотист, свирепствует лихорадка, и я подвергся той же участи, насилу от нее избавился, но силы мои в упадке и от болезни и от старости, но авось либо поправлюсь.

Я уже не игрок на сцене, потому что не из-за чего больше биться и жить на два дома. Если случится служить, то в Харькове, по крайней мере дома».

Жене он писал, что «не очень здоров, лихорадка замучила, [...] постом приеду к вам в деревню, кажется, на целое лето поправляться на подножном корму».

Давыдов, пришедший к Рыбакову проститься перед отъездом в Воронеж, куда он ехал принять участие в бенефисе товарища, был поражен переменой, происшедшей за время болезни в еще недавно столь крепком и сильном организме артиста. «Он весь осунулся, опустился,— вспоминал Давыдов свое последнее свидание с Рыбаковым.— Все время жаловался на головную боль, а расставаясь, расцеловал меня и сказал:

«Когда умру, помяните меня добрым словом! Чувствую, что больше не увидимся!»

Деревня, о поездке в которую мечтал в последние свои дни Николай Хрисанфович,— Пересечное, под Харьковом, переименовано в советское время в Рыбаково. Рядом с селом жила семья Рыбаковых в принадлежавшем им хуторе, приобретенном актерами Харьковского театра для Рыбакова на деньги, собранные по его бенефису.

Этот «хутор» состоял из небольшого деревенского дома и при нем большого сада с прудом. Здесь жили умершая в глубокой старости Паулина Герасимовна и ее старшая дочь Мария со своей семьей. Сю-

да после революции 1905 года переселился сын Рыбаковых Михаил Николаевич, который принимал участие в восстании на Пресне и, опасаясь преследования полиции, предпочел оставить Москву. Сюда не раз приезжал и Константин Николаевич Рыбаков. Здесь росли и воспитывались внуки и правнуки Николая Хрисанфовича. И сейчас в селе Рыбаково живут три поколения потомков артиста по линии их дочери Марии (по мужу Ачкасова).

Прочитав первое издание настоящей книги, семья Рыбаковых бережно собрала оставшийся в их распоряжении семейный архив и отослала его в Москву. В этом архиве имеются письма Н. Х. Рыбакова и членов его семьи и различные документы. Многие из этих материалов использованы при подготовке настоящего издания.

12 ноября 1876 года Николай Хрисанфович должен был выступать в переводной мелодраме «Адская жизнь», но перед спектаклем с ним сделался обморок. Роль с помощью вымарок была сведена на нет, а Рыбакова без чувств увезли домой. Больше в театре Рыбаков не появлялся. Болезнь обострялась быстро, обмороки повторялись ежедневно, и после самого продолжительного из них — 15 ноября 1876 года — Рыбаков скончался «от разрыва сердца».

В уже приводившихся здесь последних словах артиста, сказанных им в час кончины: «Пора! Птенцы уже подросли и сами летают!» — вылилась вся его глубокая вера в грядущее торжество русского искусства и в то, что, всю жизнь трудясь для прихода этого будущего, он сумел своим примером подготовить себе достойную смену.

Рыбаков видел, что знамя сценического реализма, которое он, не выпуская, нес в течение более пятидесяти лет, переходит из его слабеющих рук в крепкие и уверенные руки молодежи.

Целая поросль молодых, талантливых актеров вырастала около этого могучего художника, и он приветствовал их приход, он уходил спокойно, с сознанием честно исполненного долга.

«И мертвый он постоял за себя, — писал в «Пережитом» Самсонов, — несколько дней не решались его хоронить: лежит как живой».

...Десятки провинциальных актеров, придя на могилу этой колоссальной личности, могут одно только сказать: «Спасибо, дядя!» А в числе их и я: «Спасибо, дядя!»

Это последнее «спасибо» и последнее «прости» учителю и другу довелось сказать вернувшемуся в Тамбов через несколько дней после смерти артиста В. Н. Давыдову.

Тысячная толпа провожала в этот день прах Рыбакова на Успенское кладбище, и перед этой толпой, у открытой могилы, произнес

Давыдов от имени всех провинциальных актеров прощальные слова ушедшему славному могикану провинциальной сцены:

«Грозная, неумолимая смерть похитила из мира драматического искусства одного из великих его представителей. В лице Николая Хрисанфовича Рыбакова мы потеряли не только великого артиста, но и великого человека. Как артист он первый ввел естественность и теплоту в ходульных драмах, всегда шел за веком, строго подчиняясь его требованиям и доставляя до последних дней своих истинное наслаждение разным слоям общества своею талантливою игрою. Имя Николая Хрисанфовича Рыбакова гремело, гремит и будет греметь в России, которую он обошел чуть не из конца в конец, всюду встречаемый и сопровождаемый овациями...

...Как человек он заслуживает тоже полного уважения. Прослужив почти 52 года на сцене, он сошел с нее в могилу честным, добрым и всегда стоявшим за правду, несмотря на все превратности и искушения, встречающиеся на артистическом поприще чаще, чем где-либо. Только такой могучий характер мог выйти победителем из этой тяжелой, непосильной для обыкновенных людей борьбы... Несчастье и горе каждого встречали в Николае Хрисанфовиче теплое сочувствие, и нередко он отдавал последнее пуждающемуся, оставаясь сам без всяких средств, и только его вера, сила и талант спасали его от крайностей и бедствий...»

Незаменимой утратой была смерть Рыбакова для всех знавших и видевших актера демократически мыслящих людей России. Речь Давыдова, тысячная толпа у могилы, наконец, многочисленные взволнованные воспоминания друзей и соратников говорят о незатухающей памяти о большом артисте и человеке.

После Великой Октябрьской социалистической революции в архиве Тамбовского загса, в метрических книгах Пятницкой церкви, в которой отпевали артиста, была обнаружена запись о смерти Рыбакова. В этой записи значилось: «Рыбаков, Николай Хрисанфович, волковский второй гильдии купец, 65 лет, умер 15 ноября от разрыва сердца, похоронен 19 ноября».

Слова «волковский второй гильдии купец» характеризуют общественное положение, которое в дореволюционной России занимали служители театрального искусства. Профессия актера никак не определяла его место в обществе. Артист должен был принадлежать к какому-либо «сословию». И актеры, в какой-то степени материально обеспеченные, приписывали себя к сословию купцов. Сохранились свидетельства от 1863 года об уплате в гор. Валки купцом III гильдии Николаем Рыбаковым гильдейской подати 33 руб. и за сухопутные и водные сообщения 10 р. 62 к. Всего 43 р. 62 к.

П. Г. Рыбакова долго добивалась, чтобы прах ее покойного мужа был перевезен в родное их село Пересечное, но осуществить это не удалось вследствие сложных формальностей и крупных затрат, связанных с таким перехоронением. Могила великого артиста осталась в Тамбове.

Один из почитателей артиста, посетивший в 1888 году Тамбов, оставил следующее описание того, как «заботились» власти города о сохранении могилы и памяти умершего в Тамбове артиста. Вот что писал этот очевидец: «Могила Николая Хрисанфовича находится на Успенском кладбище, недалеко от главной аллеи, в левую сторону от церкви, и вот в каком ужасном виде она была найдена мною. Некогда деревянная решетка с двух сторон совершенно поломана; могильная насыпь сравнена с землею, потому что как раз через эту могилу, к которой, видимо, за все 12 лет не прикасалась рука человеческая, была протоптана дорожка; к довершению всего в 1886 году рядом с могилою Николая Хрисанфовича был похоронен некто генерал Гильдебрандт, над могилою которого сооружена каменная часовня, и при постройке этой часовни могилу Николая Хрисанфовича совершенно забросали щебнем и мусором».

Есть нечто символическое для старой царской России в этой картине: забросанная мусором и щебнем, затерянная могила слуги народа, великого актера-правдолюбца — и рядом мавзолей над гробом никому не ведомого генерала Гильдебрандта!

В статье «Критические заметки по национальному вопросу» В. И. Ленин писал: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры»\*.

Вся история русского дореволюционного театра является одним из подтверждений этого гениального положения В. И. Ленина. Русский театр, как один из важнейших участков русской национальной культуры, возник и развивался в непримиримой борьбе демократических элементов этой культуры с господствующей дворянской и буржуазной культурой, дворянской и буржуазной идеологией.

\* В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 120.

История театра русской дореволюционной провинции шла в том же направлении, что и наиболее известная нам и изученная история столичных театров. В русской провинции театр с момента его возникновения и до Великой Октябрьской социалистической революции оставался ареной той же ожесточенной борьбы сил демократии и сил реакции, что и сцены столичных императорских театров.

Более того, провинция с ее особенно острыми формами эксплуатации, произвола, насилия, подвергая своему растлевающему влиянию наименее устойчивую часть актерства, в то же время выдвигала из своей среды особенно стойких и особенно мужественных художников — борцов с этой эксплуатацией, произволом и насилием; художников, в чьем творчестве с особенной яркостью проявились более или менее развитые элементы демократической культуры.

Буржуазная, монархическая, эксплуататорская публика оказала свое губительное влияние и на театр, и, пожалуй, сильнее всего на театр провинциальный. Эта публика несла на сцену пошлую стряпню Крылова, Рышкова, Шпажинского и им подобных буржуазных драмоделов, порнографический опереточный канкан, дешевые куплеты об адвокатах и модных пилюлях.

Эта публика развращала, растлевала душу русского театра, она пыталась известить провинциального актера до униженного положения шута и гаера.

Этой буржуазной публике были обязаны актеры тем чудовищным бытовым укладом, о котором кровью сердца писал страшные, обличающие строки сам через край хвативший этого быта Л. Н. Самсонов:

«Не видя ни себе, ни детям выхода из непроглядного рабства и голодания, они (актеры.— *А. К.*) шлепались с бенефисными билетами по передним богачей, и если их не пускали с парадного подъезда, они вползали с черного, они врывались к архиереям, заставляли их выслушать оду «Бог» и получали желаемое; они придумывали для пьес свои собственные названия, вроде «Ревизор», или «Семейство мытарей», а в конце афиши объявляли, что, мол, такой-то «будет летать по воздуху» или «будет узнавать мысли и желания публики»; они просили милостыню по гостиницам, бульварам и базарам, глотали водку кружками в полштофа, почевали в кутузках и канавах; они взбирались пьяные на татарские мечети и голосили, вызывая настоящие бунты среди татар; они сбрасывали квартальных с лестниц, гуляли в одном белье по публичным садам, садились с ворохом ролей на водовозные бочки и, развезжая по главным улицам, учили роли, доказывая тем сомневающимся свое прилежание; меценаты — помещики и купцы — накачивали их отрядными напитками до положения риз, возницы гуртом сваливали их в сапи, прикручивали веревками и развозили тела по домам. Губернаторы гнушались носить одну фа-

милию с актером, и полицеймейстеры исправно вычеркивали его имя с афиши...»

Да, именно такой и никакой иной не могла быть театральная культура, порожденная социальным неравенством и деспотическим производом помещицъей и буржуазной России.

Но в той же России была и другая культура — культура великих революционеров-демократов Чернышевского и Добролюбова, культура Пушкина, Гоголя и Островского, культура Щепкина, Мочалова и Садовского.

Эта же великая русская демократическая культура породила и плеяду замечательных провинциальных актеров, сумевших сохранить себя и свои идеалы в крошечном аду старой, антрепренерской театральной провинции.

Эти актеры чутко улавливали запросы и потребности передовой, разночинной части своих зрителей, они были ее выразителями и глашатаями. Эти большие и честные художники были упорными и настойчивыми насадителями сценического реализма в искусстве. История сохранила нам много имен таких больших и честных деятелей русского провинциального театра: Угаров, Павлов, Соленик, Млотовская, Корнелий Полтавцев, Медведев, Стрепетова, Писарев, Андреев-Бурлак, Иванов-Козельский, Фанни Козловская, Самсонов.

Среди этих передовых демократических деятелей русской провинциальной сцены Николай Хрисанфович Рыбаков занимает одно из самых значительных и заметных мест.

С Рыбаковым, начавшим свой путь еще в классицистском репертуаре Озерова и в трескучей, полной несообразностей буржуазной мелодраме и закончившим его одним из первых провозвестников «натуральной школы», последовательным реалистом и другом Островского, связана целая большая эпоха русского театра. Тот путь, который в столице совершают два поколения актеров: поколение Щепкина и Мочалова и поколение Садовского, в провинции, вдохновляясь их опытом и примером, проходит Рыбаков.

«Рыбаков — это целая эпоха русского театра, охватывающая середину прошлого столетия, — писал в начале девятисотых годов биограф артиста А. Плещеев. — Это человек сильного таланта, способностей, не знавший школы, но создавший ее... по крайней мере на актерском жаргоне живет еще выражение «трагик рыбаковской школы». Школа эта, разумеется, была простым подражанием Рыбакову, а не известной подготовкой к сцене. Но и за это спасибо Рыбакову, потому что он сознательно приходил к убеждению, что в ходульной мелодраме и в трагедии необходима человечность, правда, возможная простота. Он понизил, смягчил до некоторой степени тон трагика того времени и благодаря этому впоследствии быстро, отлично освоился

сам с новым репертуаром Островского, создав серию разнообразных купеческих типов и, наконец, трагика Несчастливцева, в котором знаменитый драматург нарисовал фигуру, близкую к самому Николаю Хрисанфовичу Рыбакову».

В реалистическом репертуаре Островского и других лучших наших драматургов в полной мере проявились основные творческие качества артиста: его темперамент, его страстность художника, направленные в равной степени на разоблачение «темного царства» русской действительности и на возвеличение «луча света» в этом «темном царстве» — вольнолюбцев и протестантов типа Несчастливцева и Любима Торцова. Перечисленные особенности Рыбакова-артиста в сочетании с его обаятельным человеческим обликом, полным благородства, неподкупной честности, прямоты и смелости, делали этого ветерана провинциальной сцены примером и образцом для многочисленных его собратьев.

Именно об этом свидетельствует его современник, только что цитированный нами А. Плещеев. Припоминая известные слова трагика Несчастливцева о Рыбакове, Плещеев писал: «Островский тонко подметил характерную черту трагика, ссылавшегося на авторитет «самого Н. Х. Рыбакова». Большинство же актеров недалекого прошлого непременно ссылалось на замечательных собратьев.

— Я эту роль тридцать раз с Рыбаковым играл! — заявлял один.

— Я, можно сказать, ученик Рыбакова! — говорил другой. — Есть пьесы, в которых Николай Хрисанфич без меня не выходил.

Имя Н. Х. Рыбакова, — добавляет Плещеев, — в провинции до сих пор популярнее имени В. В. Самойлова. Рыбаков был там человек «свой», деливший с товарищами горе и радости скитальческой жизни. Он свыкся, сроднился и с этой жизнью и с семьей провинциального актерства. Душа его тяготела к провинциальной сцене... а не к миру театральных чиновников...»

Первым художником, благословившим Рыбакова на сценическое поприще, был П. С. Мочалов. В. И. Живокини, признававший, что он видел в провинции многих одаренных актеров, считал самым замечательным из них Рыбакова. По свидетельству «Театральной газеты», П. М. Садовский называл Николая Хрисанфовича «отличным актером». Сын Прова Михайловича — Михаил Провыч — был партнером и приятелем Рыбакова по Артистическому кружку. Ученица Щепкина и сама талантливая актриса и педагог А. И. Шуберт с глубокой симпатией отзывалась в своих «Записках» о прекрасном человеке и артисте Рыбакове. П. М. Медведев, известный провинциальный театральный деятель, вырастивший в своем театре целый цветник ярких сценических дарований, писал о Рыбакове как о превосходном актере на характерные роли, в особенности в пьесах Островского.



В. Н. Давыдов, считая Рыбакова своим учителем, благоговел перед его памятью. И даже такой заносчивый и скупой на похвалы человек, как знаменитый премьер Александринского театра В. В. Самойлов, с глубоким уважением говорил о Рыбакове, называл его артистом, до конца «выполнившим свое назначение».

Крупнейшие мастера Московского Малого театра в день празднования 50-летия сценической деятельности Рыбакова приветствовали его как своего товарища и единомышленника, отмечали его «талантливую, знаменитую многотрудную деятельность».

15 ноября 1901 года, в день 25-летия со дня смерти Рыбакова, прославленная труппа старейшего театра откликнулась на это событие специальным юбилейным спектаклем. Шел «Лес» Островского с К. Н. Рыбаковым в роли Несчастливцева, М. П. Садовским — Счастливым, О. О. Садовской — Улитой, Н. А. Никулиной — Гурмыжской, А. П. Ленским — Милоновым, А. И. Южиным — Бодаевым и другими, пожелавшими почтить память великого провинциального артиста.

Посылая в 1911 году юбилейное приветствие сыну Николая Хрисанфовича — Константину Николаевичу Рыбакову, М. Н. Ермолова писала: «Мне памятен образ Вашего славного отца, Вы своим талантом поддержали и укрепили великое имя Рыбаковых на славу русского искусства».

Но первое место в этом ряду виднейших театральных деятелей, оценивших и отметивших выдающуюся роль Рыбакова в истории русского сценического искусства, бесспорно принадлежит А. Н. Островскому, в пьесах которого Рыбаков одержал свои решающие победы.

Мы уже приводили ряд сохранившихся до нас устных отзывов писателя о Рыбакове как об одном из самых почитаемых им русских актеров.

Секретарь А. Н. Островского Кроначев в своих воспоминаниях о драматурге упоминает, что в его кабинете наряду с портретами таких великих деятелей русского и мирового театра, как Плов Садовский и Томмазо Сальвини, висел на почетном месте и портрет лучшего актера русской провинции — Николая Рыбакова.

Но самой большой данью благодарности драматурга по отношению к пронесшему его правдивое слово в отдаленные уголки России, глубоко понявшему и почувствовавшему его актеру была пьеса «Лес» — несокрушимый, вечный памятник Рыбакову — артисту и человеку.

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершив величайший в истории человечества переворот в общественной жизни России, явилась вместе с тем и величайшей в истории культурной революцией. Уничтожив в нашей стране раз и навсегда господство бур-

жуазной культуры, Великая Октябрьская социалистическая революция создала свою самую передовую и самую демократическую социалистическую культуру.

В создании и построении этой принципиально новой и первой в мире подлинно народной культуры мы претворяем в жизнь завет В. И. Ленина: берем из старой, дореволюционной национальной культуры только ее демократические и социалистические элементы, берем их в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации.

Поэтому, создавая как неотъемлемую часть социалистической культуры принципиально новый по своей основе, самый свободный и самый демократический в мире советский театр, наш народ неизменно использует то театральное наследие, которое было оставлено нам передовыми, демократическими театральными деятелями России.

К таким большим и честным демократическим художникам прошлого, отдавшим весь свой талант и все свое искусство на служение горячо любимой родине и родному народу, по праву следует отнести и знаменитого провинциального актера, борца за реализм и за передовые общественные и художественные идеалы в искусстве — Николая Хрисанфовича Рыбакова.

Именно наличие этой подлинной гуманистической, демократической тенденции в творчестве артиста позволило одному из дореволюционных его биографов с полным основанием заметить: «Покуда будут люди, видящие в театре не одну только забаву, а школу общественных нравов, школу укрепления и развития личного и общественного самосознания, до тех пор имя провинциального актера Николая Хрисанфовича Рыбакова будет бессмертно».

В истории русского театра навсегда останутся имя и дела этого могучего артиста и человека, пронесшего как немеркнущий факел через всю свою многотрудную жизнь великую веру в народ, посвятившего народу весь свой талант и все свое искусство.



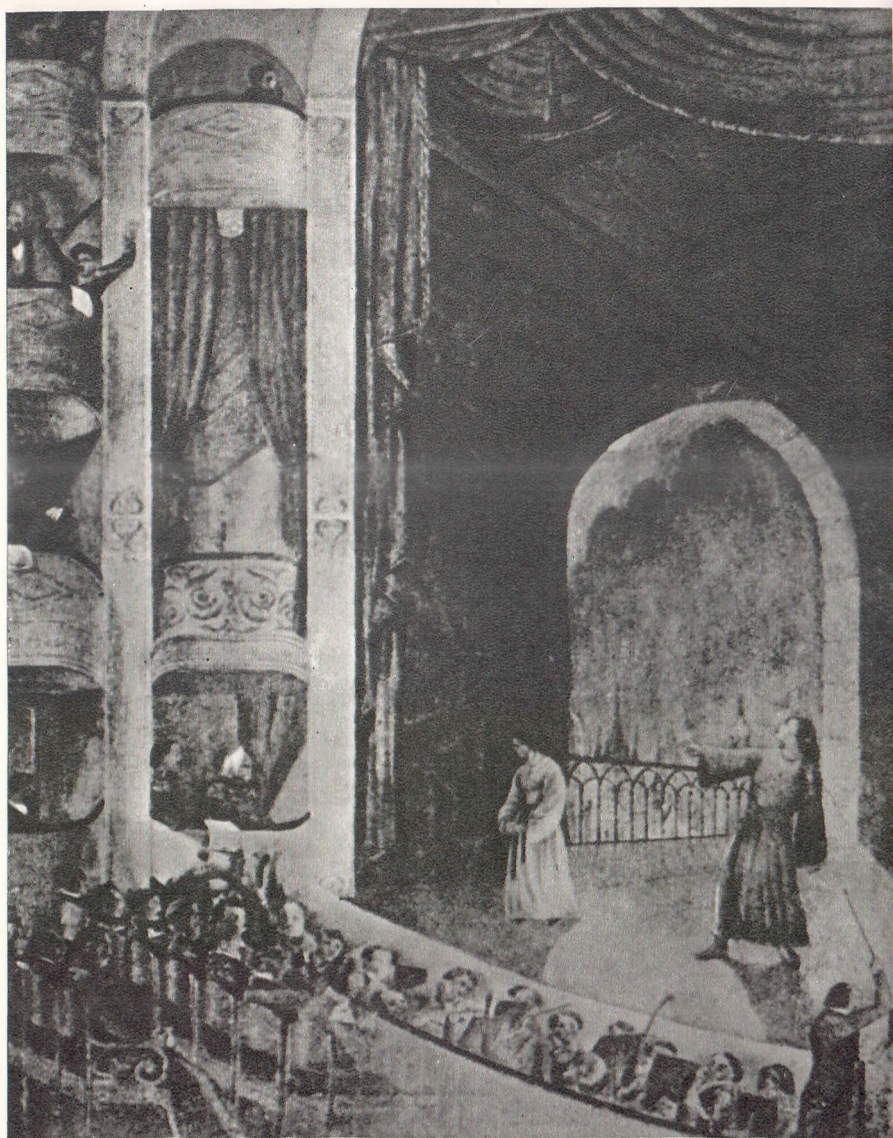
Открытие ярмарки в Курске



П. С. Мочалов



М. С. Щепкин



«Эсмеральда, или Четыре рода любви» в Казанском театре. 1862 г.  
Клод Фроло — Н. Х. Рыбаков



Н. Х. Рыбаков



Н. Х. Рыбаков — Сусанин. «Костромские леса» Н. А. Полевого

ВЪ ПОЛЬЗУ Г.

ВИНОГРАДОВА

# ЖИВАЯ ЦОКОННАДА

ИЛИ

## КРОВАВАЯ МОНАХИНЯ.

Драмъ въ пяти дѣйствіяхъ и шести картинахъ, переведенная съ французскаго Г. С. К. съ предисловіемъ, посвященномъ россійскому театру, авторомъ: **Мариусъ Калостро** и музыка въ оперѣ: **Г. НИКОЛАЕВИЧЪ**, Опера **Г. РАБЕКОВА**, Опера **Рудольфъ Гансъ СТРАУССА**.

### КАТАКОМБЫ (ПОДЗЕМНЫЙ ГРОБНИЦЪ)

Второй актъ, 1-я картина. Сцена 1-я. (Сцена 1-я)

### ЦЫГАНСКИЙ ТАБОРЬ. ЗАМОКЪ РУДЕНЦЪ. ЧЕРНАЯ МАСКА.

Второй актъ, 2-я картина. Сцена 1-я. (Сцена 1-я)

### ГРОБНАЯ ТЬМЪ МАРИ РУДЕНЦЪ.

Второй актъ, 3-я картина. Сцена 1-я. (Сцена 1-я)

### КАЛОСТРО И ЕГО ВОДШЕСТВО

Второй актъ, 4-я картина. Сцена 1-я. (Сцена 1-я)

### ОГНЕННЫЙ ГРОБЪ.

Второй актъ, 5-я картина. Сцена 1-я. (Сцена 1-я)

### МОЛОДЫЯ КЛЮЧНИЦЫ У СТАРЫХЪ ХОЛОСТЯКОВЪ.

Второй актъ, 6-я картина. Сцена 1-я. (Сцена 1-я)

### БОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВЛЕНІЕ АРАБОВЪ КАБИЛЪ, ПРЕВЪЗШИХЪ ИЗЪ БОЛЬШИХЪ СТЕПЕЙ САХАРЪ

### УПРАЖНЕНІЕ АРАБОВЪ КАБИЛЪ ВЪ РАЗНЫХЪ ВОЗДУШНЫХЪ САЛЬТОМОРТАЛЯХЪ.

Афиша спектакля в пользу В. И. Виноградова





Л. Ю. Млотковский



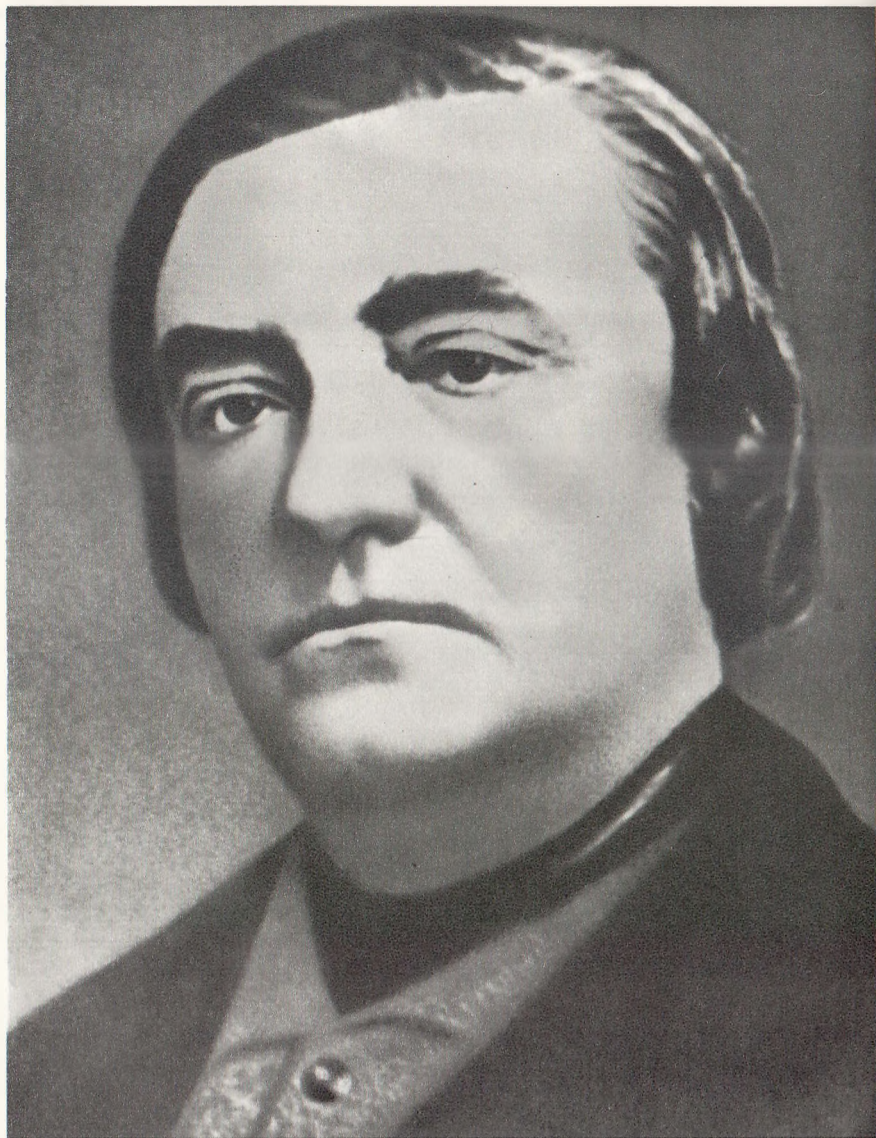
Л. И. Млотковская



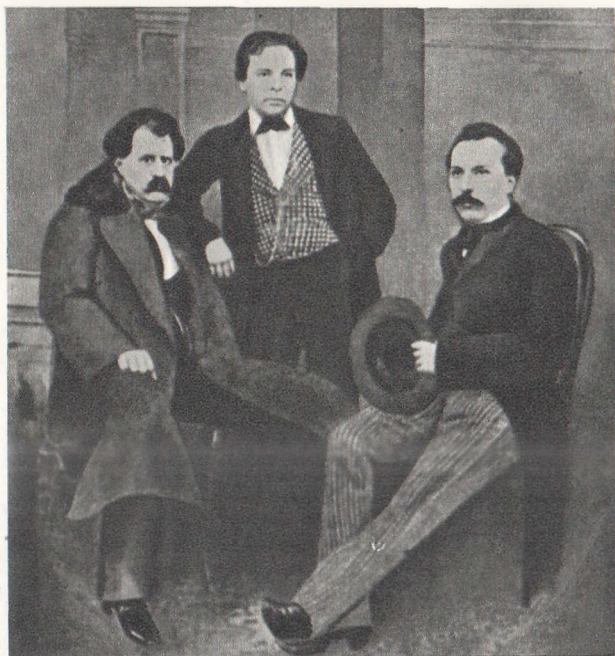
В. И. Виноградов в неизвестной роли



А. Н. Островский



П. М. Садовский



Н. Х. Рыбаков, П. В. Васильев, П. П. Пронский



Труппа Харьковского театра 60-х годов XIX века

Милостивый Государь

Михаилъ Валентиновичъ

съ грустью вижу изъ распоря-  
женій Вашихъ по ротурару,  
что я въ числѣ всѣхъ Кемальскихъ  
дворянъ исключенъ изъ списка  
на; потому, что по давнимъ  
дѣламъ, какъ я живилъ въ Каскоро-  
дѣ Инда въ Кемальскомъ Индѣ,  
Анику въ войну Грехъ, да еще  
состоющему на Первомъ Ави-  
нудѣ для того, что изданнымъ  
Поскорой Императрицы, т.е. 1762.  
какъ я, который состояю, въ  
Судебномъ Департаментѣ  
Завѣдѣнъ около Серика, а такъ при  
полученіи еще, что въ предѣлахъ  
Искити, моею трехъ кесильной  
службы, я съгналъ тогда  
три войска, остальные



Обложка юмористического журнала «Осколки». 1883 г.



П. М. Садовский — Любим Торцов.  
«Бедность не порок»  
А. Н. Островского



П. В. Васильев — Любим Торцов.  
«Бедность не порок»  
А. Н. Островского





«Бедность не порок» А. Н. Островского. Сцена из спектакля  
В центре — Н. Х. Рыбаков



А. Н. Островский среди членов Артистического кружка



Н. Х. Рыбаков — Несчастливцев,  
М. П. Садовский — Счастливцев.  
«Лес» А. Н. Островского. Артистиче-  
ский кружок



А. Ф. Федотов



**А. Ф. Федотов — Михайло.**  
**«Чужое добро впрок не идет»**  
А. А. Потехина

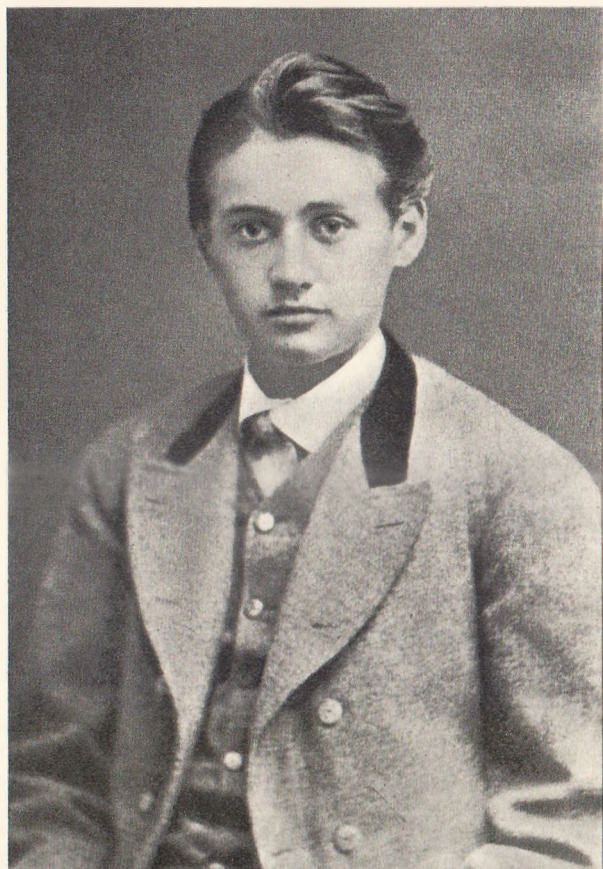
**А. Ф. Федотов — Рязположенский.**  
**«Свои люди — сочтемся»**  
А. Н. Островского



В. Н. Давыдов и А. И. Шуберт



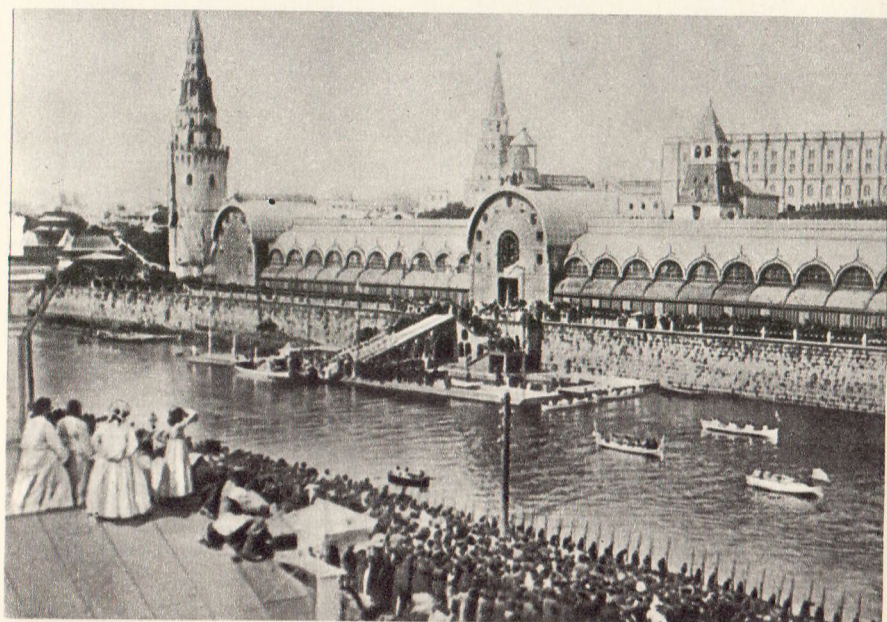
Н. Х. Рыбаков



К. Н. Рыбаков

Открытие Политехнической выставки в Москве. 1872 г.

*Handwritten signature or mark.*







Труппа Народного театра на Политехнической выставке в Москве



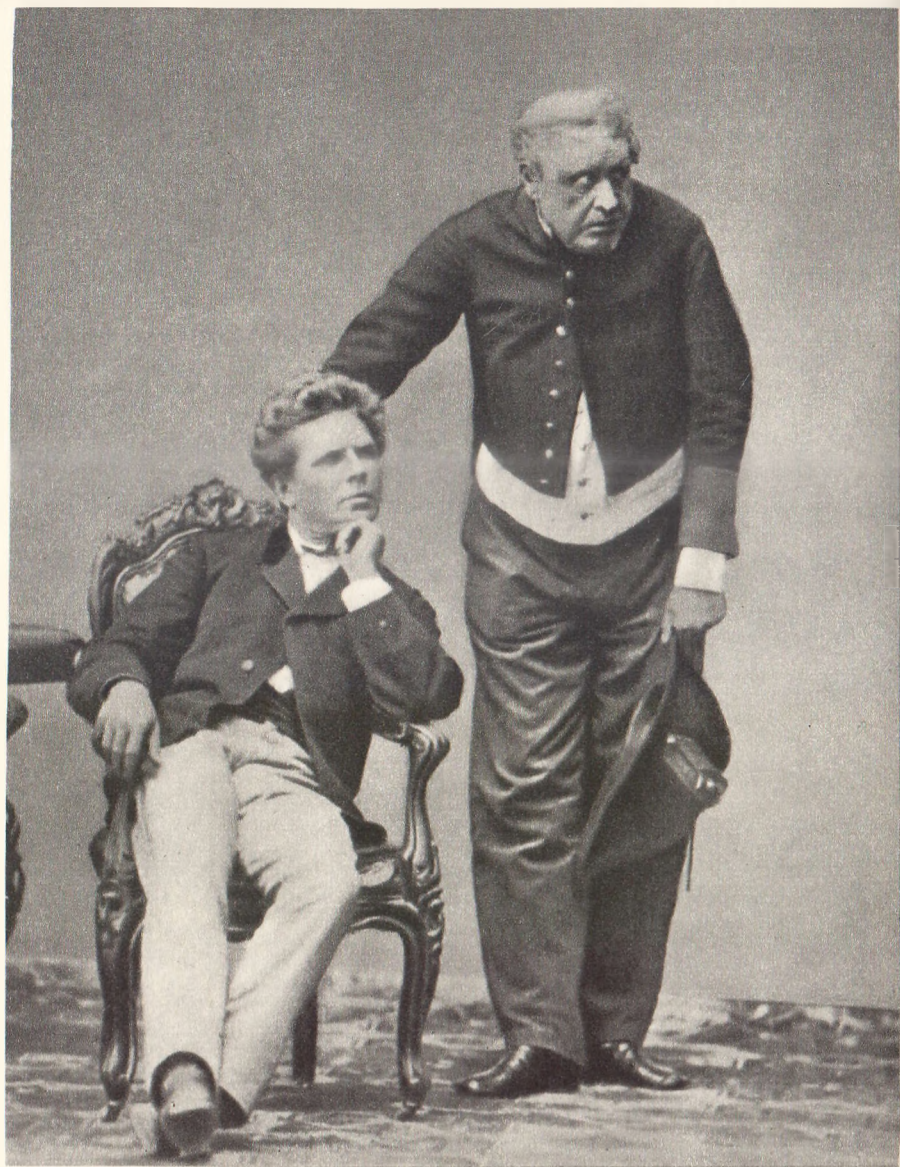
«Недоросль» Д. И. Фонвизина. Сцена из спектакля. Народный театр на Политехнической выставке в Москве. Н. Х. Рыбаков — Простаков



«Недоросль» Д. И. Фонвизина. Сцена из спектакля. Народный театр на Политехнической выставке в Москве. Н. Х. Рыбаков — Простаков (крайний справа)



«Недоросль» Д. И. Фонвизина. Сцена из спектакля. Народный театр на Политехнической выставке в Москве. Н. Х. Рыбаков — Простаков (крайний слева)



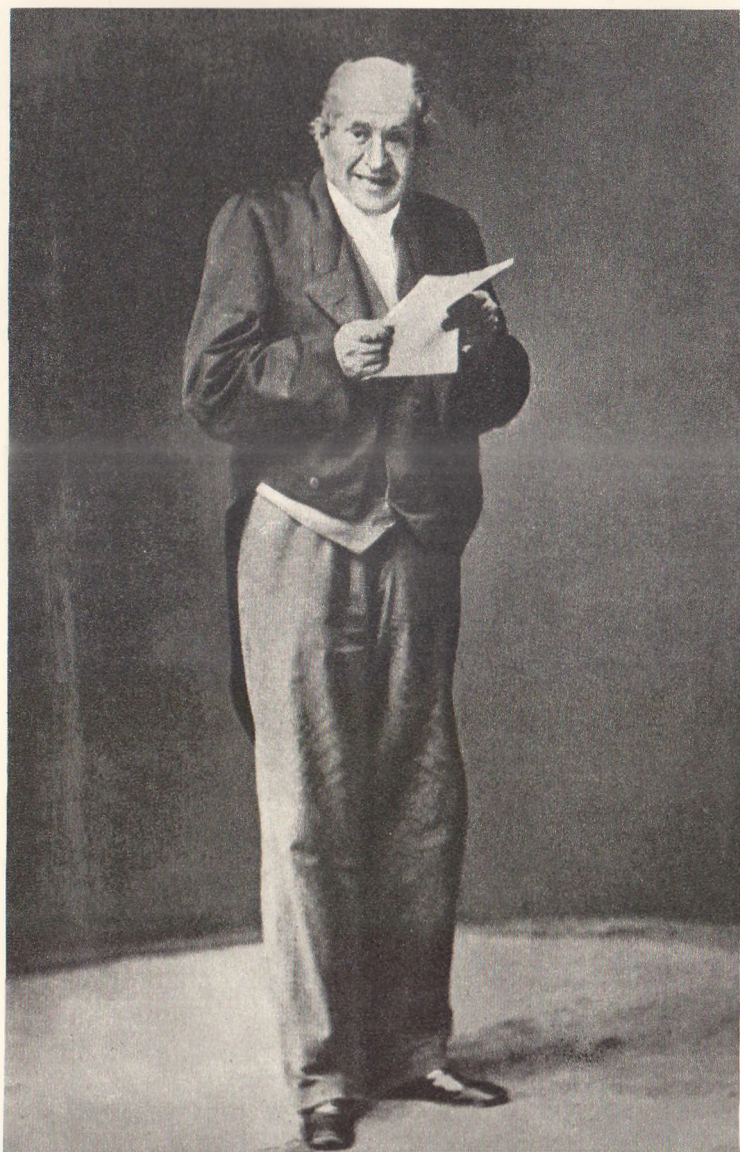
«Ревизор» Н. В. Гоголя. Н. Х. Рыбаков — Земляника. Народный театр на Политехнической выставке в Москве



Ревизор» П. В. Гоголь. В. Х. Рыбаков — Земляника. Народный театр  
на Политехнической выставке в Москве



«Ревизор» Н. В. Гоголя. Сцена из спектакля. Крайний справа — Н. Х. Рыбаков — Земляника. Народный театр на Политехнической выставке в Москве



Н. Х. Рыбаков — Яичница. «Женитьба» Н. В. Гоголя



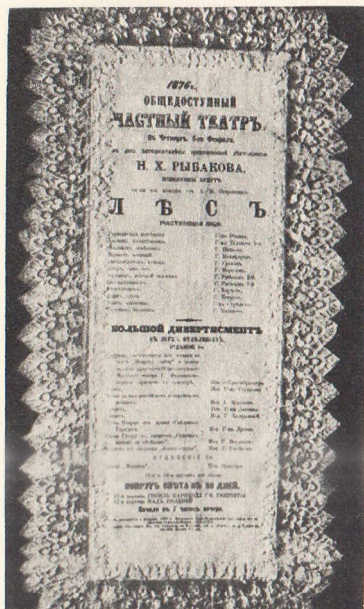
«Бедность не порок» А. Н. Островского. В центре — Н. Х. Рыбаков — Любим Торпов. Народный театр на Политехнической выставке в Москве.



Свидетельство на золотую медаль Н. Х. Рыбакову



Афиша юбилейного спектакля в день пятидесятилетия артистической деятельности Н. Х. Рыбакова (напечатана на шелку)



Юбилейный адрес Н. Х. Рыбакову

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

НАЧАЛО ПУТИ . . . . .	3
ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛИ . . . . .	25
ПЕРВЫЙ ТРАГИК ПРОВИНЦИИ . . . . .	35
СТОЛИЧНЫЕ ДЕВЮТЫ . . . . .	58
ТЕАТРАЛЬНЫЕ СКИТАНИЯ . . . . .	66
НОВЫЕ ГЕРОИ . . . . .	79
«САМ НИКОЛАЙ ХРИСАНФЫЧ...» . . . . .	104
НАРОДНЫЙ АРТИСТ . . . . .	127

Клиничин Александр Павлович  
НИКОЛАЙ ХРИСАНФОВИЧ  
РЫБАКОВ  
СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»

Редактор В. Стольная  
Художественный редактор Л. Иванова  
Технический редактор М. Ушкова  
Корректоры А. Паранюшкина, Г. Харитонова

А-03686. Сдано в набор 15/VII-71 г. Подписано в печать 29/II-72 г. Формат издания 60x84/16. Бумага типографская № 1 и тифдручная. Усл. п. л. 12,206. Уч.-изд. л. 12,842. Тираж 50 000 экз. Изд. № 4666. Заказ 395. Издательство «Искусство», Москва, К-51, Цветной бульвар, 25. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109. Иллюстрации отпечатаны во 2-й Московской типографии Главполиграфпрома

Цена 1 р. 15 к.

1р. 15к

